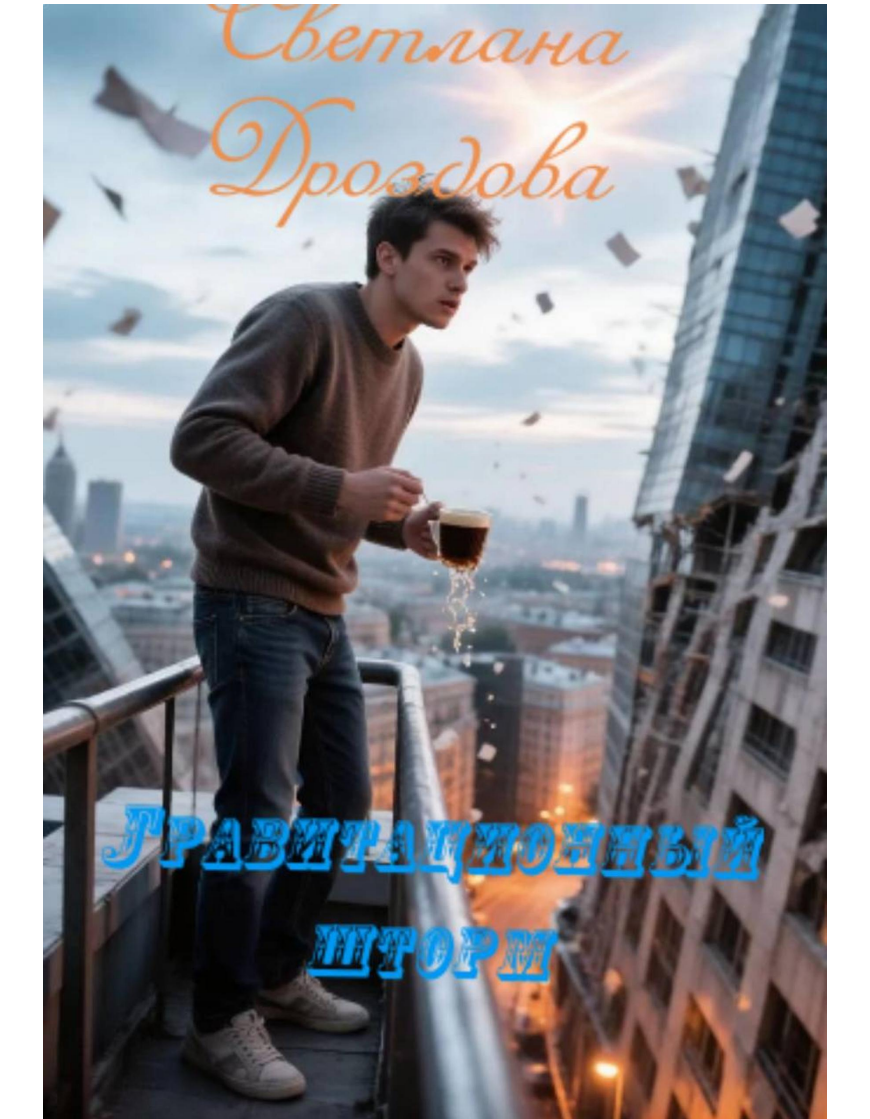


A man in a brown sweater and jeans stands on a rooftop, looking over a city at dusk. He is holding a glass of beer, from which liquid is splashing. Numerous sheets of paper are falling through the air around him. The background shows a city skyline with various buildings under a twilight sky.

Светлана
Дроздова

ГРАВИТАЦИОННЫЙ
ШТОРМ

Светлана Дроздова

Гравитационный шторм

<https://litres.ru/74647817>

SelfPub; 2026

Аннотация

В один обычный понедельник законы физики изменились навсегда. Без предупреждения гравитация на Земле упала на тридцать процентов. Мир не взорвался — он стал легче.

Для астрофизика Марка, поглощённого наукой и разводом, это начало самого страшного и захватывающего эксперимента в истории человечества. В его маленькую квартиру, пропахшую пылью и одиночеством, на несколько дней приезжает десятилетняя дочь Соня. Пока отец с коллегами пытается понять природу аномалии, исключая одну физическую теорию за другой, девочка интуитивно осваивает новый мир, где можно летать, прыгая с качелей.

Тем временем на Алтае астроном Алиса Ким получает подтверждение худших догадок: сигнал, зафиксированный за три недели до катаклизма, — искусственный. Кто-то в глубоком космосе целенаправленно «качал» гравитационное поле Земли, как маятник. Мир погружается в хаос: небоскрёбы раскачиваются и рушатся, самолёты не могут сесть, а орбиты спутников смещаются, ломая навигацию.

Светлана Дроздова

Гравитационный шторм

Глава 1. Лёгкий день

Будильник не прозвенел.

Марк проснулся за три минуты до него — в 6:27, как всегда, с ощущением, что кто-то тихо, но настойчиво трясёт за плечо. Не сон, не шум с улицы — просто тело, которое давно разучилось спать дольше четырёх часов. Оно считало, что спать дольше — роскошь, а роскошь у Марка отняли год назад, вместе с ключами от машины, тёплым одеялом на двухспальной кровати и привычкой говорить «мы».

Телефон на туманке показал 6:27. Будильник стоял на 6:30. Марк выключил его, не дожидаясь, положил экраном вниз и сел на край кровати. Пружины под ним тихо вздохнули — кровать была старая, с матрасом, провисшим посередине, как улыбка. Лена спала на другой стороне, более ровной. Теперь обе стороны были Марковы, и он лежал ближе к стене, потому что с той стороны, где раньше спала жена,

простыня была холоднее. Не потому что colder — а потому что untouched. Нетронутая.

Квартира была тихая. Не та уютная тишина, которая бывает в деревне или в гостинице у моря, а другая — пустая, давящая, с эхом. Эхо жило в комнатах, куда Марк не заходил. Дальняя комната — бывшая Сонина — с ободранными наклейками на стене: бабочка, радуга, буква «С», наклеенная криво, потому что Соня клеила её в шесть лет и никак не могла попасть ровно. Буква держалась до сих пор — один угол отклеился, и «С» выглядывала из-за обоев, как подмигивающий глаз. В углу комнаты — коробка детских вещей, которую Лена не забрала. Марк не открывал её с весны. Знал, что там — красный комбинезон, в котором Соня каталась на горке, и книжка астрономических карт, которую он подарил ей на восьмилетие. Соня не поняла тогда, что это подарок от отца, а не от Деда Мороза, но позже поняла, и стала носить книжку с собой, в рюкзаке, как талисман. Теперь книжка была в коробке, а Соня — в другой квартире, на другом конце города, с матерью и котом, которого Лена завела через месяц после ухода.

Средняя комната — бывшая Ленина, теперь склад. Ящики с бумагами, старый монитор, тренажёр, которым никто не пользовался ещё до ухода. Лена купила его на волне энтузиазма, простояла две недели, и дальше стал вешалкой для

одежды. Теперь и одежда Марка висела на нём — рубашки, которые он не носил, куртка, из кармана которой торчал автобусный билет прошлогодний. Марк проходил мимо этих дверей, держась коридора, как тропы. Остальное — территория, которую он уступил. Не потому что не хотел зацепиться — а потому что зацепки там были, как осколки: режут, когда трогаешь.

Кухня. Свет не зажигал — знал наизусть каждый шаг. Четыре плитки до раковины, поворот, две плитки до плиты. Турка стояла на конфорке с вчерашней гущей — чёрная, густая, пахнувшая так, как пахнет единственное, что Марку осталось от взрослой жизни: работа и кофе. Он понюхал, поморщился, вымыл и поставил новую порцию — две чайные ложки мелкого помола, без сахара. Пока закипала вода, достал из шкафчика единственную чистую чашку. Другие стояли в сушилке, но ему нравилась именно эта — белая, с маленьким сколом на ручке. Лена её ненавидела. Говорила: «В ней пить — всё равно что из разбитого стакана». Может, поэтому Марк её и выбрал. Тихий, бессознательный бунт — единственный, который он себе позволял.

Кофе варился. За окном начинался московский октябрь — серый, осторожный, с нерешительным светом, ещё не решившим, утро это или вечер. Фонари на набережной ещё горели, но уже казались лишними — бледные, как ситницы,

нештатные, работающие по инерции. Внизу, во дворе, дворник в оранжевом жилете мёл тротуар, и звук метлы долетал до четырнадцатого этажа — редкий, чёткий, как метроном. Машина проехала по улице, и звук мотора поднялся вверх, к окну, и растворился. Город ещё спал, но уже ворочался.

Марк подошёл к окну. Выпил кофе стоя, глядя на город. Москва просыпалась — по ТТК шла первая волна машин, красные стоп-сигналы тёкли лентой, как кровь по сосуду. На берегу реки женщина выгуливала пуделя — того самого, абрикосового, которого Марк видел каждое утро. Пудель бежал по набережной, и его лапы стучали по мокрому асфальту — Марк не слышал, но представлял звук. Окно было узкое, и Марк каждый раз испытывал лёгкое головокружение, когда подходил к стеклу — не от высоты, а от ощущения, что земля внизу нереальна, далека, как дно аквариума. Четырнадцатый этаж — не Эверест, но достаточно, чтобы земля стала абстрактной. Голова знала высоту, и живот реагировал — каждый раз, каждый день.

Сегодня головокружения не было.

Марк не сразу это заметил. Допил кофе, поставил чашку на подоконник, наклонился ближе к стеклу. Четырнадцатый этаж, вниз — двор, деревья с жёлтыми листьями, детские качели, пустые, слегка покачивающиеся от ветра. Ничего. Ни-

какого привычного томления в животе, никакой перехваченной дышалки. Будто он стоял не у окна четырнадцатого этажа, а на полу в коридоре.

Он отшатнулся, провёл ладонью по лицу. Кофе натошак. Недосып. Нужно позавтракать, но холодильник, он знал, был пуст, кроме пачки творога с истёкшим сроком и трёх яиц, которые он купил на прошлой неделе. Марк решил, что купит бутерброд в метро — белый, с сыром, из ларька у входа. Вкус у него был как у пластилина, но калории есть калории.

Одевался быстро. Джинсы — единственные чистые, из вчерашней стирки, ещё влажные у пояса. Свитер — серый, с катышками на локтях, который он носил три раза в неделю и который пах не духами и не потом, а чем-то средним — собой, стиральным порошком и институтской канцелярией. Ботинки — старые, со стёртой подошвой, левые чуть скрипели. Куртка — лёгкая, осенняя, с карманом, в который помещался телефон и паспорт. Ключи. Документы. Сумка с ноутбуком — лёгкая, чёрная, с потёртым ремнём.

Марк посмотрел в зеркало в прихожей. Оттуда на него смотрел человек тридцати восьми лет, с тёмными кругами под глазами, с трёхдневной щетиной, которая никак не решалась стать бородой, и с тем выражением лица, которое бывает у людей, давно не разговаривавших с собой. Не злое, не

грустное — отсутствующее. Зеркало было маленькое, мутное, с пятном в углу, и Марк в нём выглядел как фотография, которую плохо проявили.

Он вышел.

Лифт. Марк нажал кнопку и подождал. Лифт в доме был старый, советский, с решётчатыми дверями и лампочкой, которая мигала, как нервный тик. Ехал он медленно, с остановками и вздохами, как астматик, и иногда застревал между этажами — тогда приходилось стучать в стенку и ждать, пока лифтёр (или кто-то из соседей) его раскачает. Сегодня лифт, судя по индикатору, стоял на четвёртом этаже и не двигался. Марк подождал тридцать секунд, потом развернулся к лестнице. Он всегда так делал, когда лифт застревал, — спускался пешком. Четырнадцать этажей, не так много. Тело было натренировано на лестницу — не спорт, а быт.

Он начал спуск.

Лестница была бетонная, со стёртыми ступенями и перилами, покрашенными столько раз, что краска стала тёмной, почти чёрной, с трещинами, через которые проступали предыдущие слои — зелёный, коричневый, серый. Геология

дома. Марк шёл быстро, привычно, считая этажи по табличкам. Двенадцатый. Одиннадцатый. Десятый.

На девятом он споткнулся. Нет — не споткнулся. Скорее, тело сделало шаг быстрее, чем он хотел. Нога опустилась на ступеньку, и вместо привычного удара, тяжёлого, гасящего, — лёгкость. Будто кто-то на долю секунды убрал пол под ногой, и он падал на сантиметр дальше, чем ожидал. Ступенька встретила стопу мягко, как будто была обита чем-то упругим. Или будто Марк стал легче на пару сотен граммов.

Марк остановился. Подержался за перила — прохладные, шершавые. Прислушался к телу. Сердце стучало ровно. Голова ясная. Не тошнит, не кружится. Он переступил — нормально. Ещё шаг — нормально. Спустился на восьмой этаж, на седьмой.

На седьмом — снова. Чуть-чуть. Едва заметно. Шаг вниз, и тело не уткнулось в ступеньку, а как бы присело на неё, мягко, будто кто-то на мгновение ослабил пружину, на которой Марк висел. Не полёт, не невесомость — просто отсутствие привычной тяжести. Как будто кто-то чуть-чуть — на полпроцента, на четверть — выкрутил вниз ручку гравитации.

Он фыркнул. Кофе. Недосып. Может, давление — атмо-

сферное или кровавое, какая разница. Марк был физик-теоретик, а не терапевт, но знал: организм — система, и иногда система даёт сбои. Особенно если систему недокармливают, недосыпают и перегружают формулами.

Он дочитал лестницу до первого этажа — дальше без странностей, или он перестал замечать. Вышел в подъезд, толкнул тяжёлую дверь, и на улице пахло осенней Москвой — влажным бетоном, речной водой, табаком от курящего у подъезда соседа. Сосед — пожилой мужчина в кепке, которого Марк видел каждое утро, — кивнул. Марк кивнул в ответ. Ни слова. Так было принято.

До метро идти двенадцать минут. Марк шёл по привычному маршруту — мимо школы, мимо сквера, через перекрёсток. Утренний воздух был холодный, градусов шесть, но без ветра, и осень пахла особенно — не гнилью, как в парках, а чистотой, как из холодильника. Марк застегнул куртку и пошёл быстрее, экономя тепло.

У сквера — голуби. Стая штук пятнадцати, рассыпанных по тротуару, клюющих что-то невидимое между плитами. Когда Марк прошёл близко, стая взлетела — разом, с хлопаньем крыльев, и Марк машинально отметил: взлетели вы-

соко. Выше обычного. Голуби обычно поднимаются на два-три метра и садятся на ближайшую ветку или карниз — лениво, неохотно, как будто им неинтересно. Эти поднялись на четыре, может, пять метров, и зависли на секунду дольше, будто не знали, куда сесть. Будто воздух держал их лучше, чем обычно.

Тёплый воздух от вентиляционных шахт, подумал Марк. Восходящий поток. Октябрь, солнце ещё низко, асфальт холодный, но подземные коммуникации тёплые — трубы, коллекторы, метро — отсюда термик. Город дышит теплом снизу, и голуби ловят поток. Обычное дело. Он не был орнитологом и не собирался им становиться.

В ларьке у метро купил бутерброд — белый хлеб, сыр, масло. Откусил — пластилин с привкусом холодильника. Сжевал, запил кофе из бумажного стаканчика, который продавала та же бабушка в окошке. Бабушка смотрела на него с сочувствием — Марк выглядел хуже своих лет, и бабушки это видели.

Метро. Марк приложил карту, прошёл через турник, спустился на эскалаторе. Эскалатор был длинный, глубокий — станция заложена глубоко, и эскалатор шёл вниз секунд сорок. Марк стоял на левой стороне, шёл вниз, и тело качнулось на переходе между горизонтальной и наклонной частью

— как всегда. Небольшой толчок, привычный, как поскрипывание ступеней.

Платформа. Поезд. Он встал у двери — место, где можно читать с телефона, не толкаясь и не дыша в чью-то куртку. Статья в Nature Physics, рецензия на работу о гравитационном потенциале в расширяющейся Вселенной — авторы из Швейцарии, группа профессора Лефевра, которая вечно опережала Марка на полшага. Нудно, но нужно — для своей статьи Марку следовало знать, что опубликовали конкуренты. Он читал, и буквы плыли перед глазами, и мозг цеплял суть между строками: «...предполагается, что локальная плотность тёмной энергии...»

Поезд шёл по обычному маршруту. Между двумя станциями — плавный поворот направо, градусов на двадцать. Марк ездил этим маршрутом каждый день, пять раз в неделю, и знал каждый изгиб: на этом повороте поезд всегда идёт на скорости, достаточной, чтобы центробежная сила ощутимо прижимала к стенке, а стоящих пассажиров клонило к дверям. Обычно он вцеплялся в поручень — не сильно, но инстинктивно, потому что тело знало: сейчас бросит.

Сегодня толчок был слабее. Незначительно — может, на четверть. Но Марк почувствовал: тело не так сильно прижало к стеклу двери, и рука, державшая поручень, не напряг-

лась. Он ослабил хватку и посмотрел в окно. Туннель летел мимо — чёрный, с редкими лампами, мелькающими, как кадры в старом кино. Поезд шёл на повороте, и Марк, профессионально ощущая инерцию — это было его работой, его призванием, его одержимостью — подумал: либо машинист сегодня сбросил скорость — а зачем бы ему? — либо что-то не так с виражом. Хотя что может быть не так с виражом? Рельсы не гнутся за ночь.

Рядом женщина — лет тридцати пяти, в сером пальто, с сумкой через плечо — схватилась за поручень. Но схватилась вяло, больше по привычке, чем по необходимости. Она даже не подняла головы от телефона — читала что-то, водила пальцем по экрану, и лицо её было спокойным, чуть сонным, как у человека, который не выспался, но не из-за тревоги, а из-за сериала.

Марк посмотрел по вагону. Школьник с рюкзаком — лет четырнадцати, в худи, с капюшоном на голове — стоял, прильнув к стене, спал. Рот приоткрыт, на стекле у губ — влажное пятно. Рабочий в синей каске листал новости, большие пальцы на экране — быстро, привычно, как на сборочном конвейере. Беременная женщина сидела на скамейке, ладонь на животе, глаза закрыты. Она не выглядела испуганной или обеспокоенной — просто усталой. Рядом с ней — пожилой мужчина с тростью, читал газету. Газету! Настоя-

щую, бумажную, сложенную вчетверо. Марк не помнил, когда в последний раз видел, чтобы кто-то читал газету в метро. Каждый человек в вагоне был занят чем-то своим, и каждый — не замечал. Город не знал ничего. Всё в порядке.

Марк вернулся к статье. Поезд остановился, двери открылись, и он вышел, не думая ни о голубях, ни о поезде, ни о лестнице. Три сигнала, три мимолётных observation, и каждый — объяснён, списан, забыт.

Институт гравитационных исследований занимал пять этажей здания на улице, названной в честь физика, которого никто из работающих в институте не помнил. Марк помнил — Столетов, Александр Григорьевич, — но это потому что Марк был физик, а не потому что у него была память на имена. Фасад был облицован плиткой, которая вечно отваливалась, и каждый раз её клеили обратно другим цветом — серый, бежевый, розоватый. Здание выглядело так, будто его лепили из обрезков, и каждый подрядчик привносил свой оттенок убогости. Вестибюль пах лифтом — металлом, маслом, и ещё чем-то, что Марк называл «запахом науки»: смесью пыли, дезинфекции и кофе из автомата.

Марк поднялся на третий этаж — пешком, лифт не любил

и здесь. Кабинет был маленький, окно во двор, на стене — доска, исписанная уравнениями с пятницы. Марк посмотрел на них и не узнал собственных выкладок — нужно было вчитаться. Мозг был в другом режиме: режим «утро понедельника», когда пятничные мысли кажутся чужими, как будто их написал другой человек, более свежий, менее уставший. Марк часто думал, что пятничный Марк — лучший вариант его самого. Понедельничный — версия после патча.

Уравнения на доске были красивые — симметричные, с метрикой Керра и поправкой, которую Марк ввёл в прошлую среду. Поправка была спорная — он это знал, — но элегантная. Она объясняла поведение гравитационного потенциала в окрестности вращающихся масс в условиях, которые пока никто не наблюдал. «Пока» — ключевое слово. Марк верил, что эти условия где-то существуют. Может, не здесь, не сейчас — но в какой-то точке Вселенной. И если его уравнения верны, они это предскажут.

Он открыл ноутбук, запустил статью. Грантовый отчёт поджимал — через неделю дедлайн, и отчёт был на той стадии, когда текст есть, но слова пустые. Нужны результаты. Нужны данные. Нужен график, на котором линия идёт не так, как ожидалось, — и объяснение, почему. Марк ненавидел эту часть работы: не науку, а бюрократию науки. Гранты, отчёты, обоснования. Каждое слово — оправдание перед

кем-то, кто не понимает формул, но держит кошелёк.

Совещание в четырнадцать. Звонок Лене — Марк обещал, что позвонит в понедельник, узнать, как Соня, договориться о встрече. Это лежало в нём камнем — не страх, нет. Тупая тяжесть. Он любил дочь так, как будто любовь была физической величиной — measurable, но не expressible в словах. Можно измерить, но нельзя описать. По телефону он говорил с ней неловко, паузы были длинными, голос начинал хрипеть, и каждое «нормально» Сони звучало как приговор. Она не виновата — дети в десять лет отвечают «нормально» на всё. Но Марк слышал в этом слове не возраст, а расстояние. Расстояние, которое он сам создал, когда ушёл в работу с головой, как в омут, и Лена ушла, потому что не могла дышать рядом с человеком, который не выныривает.

Марк погрузился в работу. Уравнения на доске оказались не такими чужими, как показалось сначала — он восстановил ход мысли за полчаса. Формализм был красивый, но незаконченный, как дом без крыши. Нужно было доработать граничные условия — третья страница статьи, раздел 3.2, который он откладывал с четверга. Марк начал писать, и время побежало — не быстро и не медленно, а так, как оно бежит, когда работаешь: без ощущения, без следа.

В девять тридцать дверь открылась.

Дима — аспирант-экспериментатор, двадцать четыре года, вечно с линейкой в кармане рубашки и следом от ручки на левой ладони — вошёл без стука. Он всегда входил без стука, и Марк каждый раз вздрагивал, и каждый раз забывал сказать ему стучать. Дима держал в руке распечатку — лист А4, графики, колонки цифр, и лицо у него было то особое аспирантское лицо, которое означает: я что-то нашёл, но не знаю, что с этим делать.

— Марк Андреевич, можно?

— Можно, — Марк не поднял головы.

Дима положил распечатку на стол поверх ноутбука. Марк посмотрел. График ночного гравиметра — непрерывная линия, почти ровная, с обычными шумами, мелкими колебаниями, которые были нормой. И один всплеск — маленький, едва различимый, в три часа ночи. Всплеск был похож на зубец на кардиограмме — острый, короткий, и потом — снова ровная линия.

— Отклонение на ноль-ноль-ноль три процента, — сказал Дима. — Три тысячных. В три часа ночи, примерно.

Марк посмотрел на шкалу. Всплеск был крошечный — в масштабах лабораторных погрешностей это ничего. Гравиметры были чувствительные, но не сверхчувствительные, и три тысячных — это могло быть всё что угодно: проходящий грузовик за стеной, изменение уровня грунтовых вод, магнитная аномалия, солнечная вспышка, наконец.

— Может, прибор сбился?

— Калибровка в норме. Я проверил, — Дима говорил с той въедливой серьёзностью, которая бывает у молодых учёных, ещё не научившихся отмахиваться. Он стоял прямо, лист в руке, линейка в кармане — и ждал. — Два раза проверил. И третий — утром, перед тем как к вам идти. Всё зелёное.

— Ну, запиши в журнал, — Марк вернулся к экрану, но глаза задержались на графике на секунду дольше, чем следовало. — Может, грунтовые воды. Может, Луна в перигее — она когда, вчера проходила?

— Четы дня назад.

— Ну вот. Эффект затухающий. Запиши, и если к обеду не повторится — забудь.

Дима кивнул, забрал распечатку и вышел. У двери обернулся:

— Марк Андреевич, а если повторится?

— Тогда обсудим.

Дима вышел. Марк не запомнил этот разговор. Но позже — через несколько дней, когда мир изменится, когда небо станет другим, когда здания начнут качаться — он будет прокручивать его в голове снова и снова: три тысячных процента, три часа ночи, Дима с линейкой в кармане и лицом, которое ждало ответа. И будет думать, что нужно было слушать. Что нужно было не отмахиваться. Что три тысячных — это не «ничего». Что три тысячных — это начало.

Но это будет потом. А пока — Марк вернулся к статье, к разделу 3.2, к граничным условиям. Уравнения были красивые, и красота была опасна — она затягивала, как омут, и Марк уходил в неё, и мир сужался до формул, до маркера, до доски.

Радио в институте было включено — кто-то из соседнего

кабинета, через стену, слушал «Маяк» на старом приёмнике, который был старше самого института. Приёмник хрипел и шипел, и иногда глох, и тогда его стучали, и он оживал, как больной после укола. Марк слышал обрывки сквозь тонкий гипсокартон. Музыка — что-то старое, «Машина времени», кажется. Реклама — порошок, который отстирывает всё. Новости.

Дежурный метеоролог Гидрометцентра — молодой голос, почти мальчишеский, с тем оптимистическим напевом, который бывает у людей, прогнозирующих погоду и знающих, что им никто не верит — говорил про понедельник:

— Атмосферное давление чуть снижено, на два-три миллиметра ртутного столба от нормы. Осадков не ожидается. Ветер северный, умеренный, порывы до семи метров в секунду. Температура днём — семь-девять градусов тепла. Ничего критичного.

Ничего критичного. Марк не слышал — он был погружён в уравнения, и радио было фоном, шумом, листвой за окном. Но слово «снижено» проникло куда-то на периферию, в ту часть мозга, которая работает без спроса, как подсознание, как сторож, который никогда не спит. Снижено. Не «норма», не «повышено» — снижено. На два-три миллиметра. Это ничего. Это бывает. Но в связке с лёгкостью на лестнице, с по-

ездом на вираже, с голубями, с гравиметром — это четвёртое звено. Четыре звена, и цепь уже существует, только никто не видит её целиком.

Потом, между прогнозом погоды и спортивными новостями, диктор сказал мимоходом — между делом, как о чём-то незначительном, как о чём-то, что не стоит внимания:

— Японское метеорологическое агентство сообщило о необычном приливе в Тихом океане. Уровень воды в районе острова Хонсю превысил расчётный на восемь сантиметров. Сейсмической активности не зафиксировано. Специалисты объясняют отклонение атмосферными факторами.

Три строки. Между погодой и результатами чемпионата по футболу, где «Спартак» проиграл, и это было для диктора важнее, чем восемь сантиметров океана. Марк не услышал и этого. Но радиоволна ушла в эфир — в Москву, в Питер, в Новосибирск, в Владивосток, — и где-то в Тихом океане вода, которая поднялась на восемь сантиметров выше, чем должна была, уже начала опускаться. Восемь сантиметров. Сущий пустяк. Капля в океане — буквально. Но океан состоит из капель, и каждая капля знает, куда течь, а эта — не знала.

Шесть тысяч километров от Москвы, на плато в Алтайских горах, ночь ещё не закончилась.

Алиса Ким работала в ночную смену. Это была её третья смена за неделю — не потому что нужно, а потому что не мешало. На обсерватории было два телескопа, четыре человека сменного персонала и тишина, которую можно пить, как воду. Алиса любила ночные смены. Днём — мир, люди, разговоры, обязательства. Ночью — небо, монитор, шум. Проще.

Обсерватория стояла на высоте две тысячи метров, вдали от ближайшего посёлка — сорок минут на уазике по грунтовой дороге, которая осенью превращалась в грязевую ванну, а зимой — в ледяную трассу, по которой ездили с молитвой. Небо здесь было чёрное, глубокое, без городской подсветки, и звёзды в нём не мерцали, а стояли, как гвозди, вбитые в бархат. Млечный Путь тянулся через весь купол неба — полоса, белёсая, зернистая, и Алиса каждый раз, когда выходила наружу, смотрела на него и думала: вот. Вот оно. То, ради чего стоит жить. Не ради грантов и статей — а ради того, чтобы стоять на горе и видеть спину Вселенной.

Купол обсерватории — белый, полусферический, с щелью-прорезью, которая поворачивалась вместе с телескопом — был тёплым внутри. Техника не любила холод, и купол

обогревался, но всё равно было свежо, градусов десять, и Алиса сидела в свитере, шапке и перчатках с обрезанными пальцами. Кофе в термосе закончился два часа назад — Алиса забыла термос в бытовке, и пила холодную воду из пластиковой бутылки. Вода была из горного ручья, набранная вчера, и пахла льдом и минералами.

Рабочий стол — завален распечатками, таблицами, журналами. И фантиками. Лучшая конфета — «Коровка», это Алиса решила давно, и не обсуждала. «Коровка» — это не приторная, не шоколадная, не модная — это правильная конфета. Вкус сдержанный, как характер, и обёртка серебристая, как звезда. Алиса не выбрасывала фантики — не из коллекционирования, а из лени, и к концу месяца стол был усыпан серебристыми обёртками, как осенними листьями. Тимур ворчал. Алиса не слушала.

На стене, приклеенная скотчем, висела распечатанная карточка из «Секретных материалов»: «I Want to Believe». Плакат был старый, выцветший, угол оторван, скотч пожелтел. Алиса повесила его не как декорацию — как позицию. Она хотела верить. В то, что Вселенная интереснее, чем учебники. В то, что в шуме есть сигнал. В то, что она не зря сидит ночами на горе, пока мир спит, пока коллеги пишут статьи о рутинных наблюдениях, а она — ищет. Чего? Не знала. Может, того, что нельзя найти. Но «I Want to Believe»

— это не про веру в инопланетян. Это про веру в то, что реальность шире, чем мы думаем. Что за шумом — тишина, а за тишиной — что-то ещё.

Алиса сидела у монитора. Телескоп — оптический, с гравитационно-волновым детектором, последняя модификация, которую поставили два года назад на грант, который Алиса выбила с боем — молчал. Или нет, не молчал: он всегда говорил, шептал, выдавал ровный шум, который Алиса слушала, как морскую раковину. Шум гравитационного фона — это рёв Вселенной, усреднённый, сглаженный, далёкий. В нём — слияния галактик, рождения звёзд, смерть чёрных дыр. Всё сразу, всё далеко, всё давно. Алиса привыкла. Три года на этой обсерватории — и шум стал фоном, как дыхание.

Часы на стене показывали шесть утра. Смена заканчивалась через час. Алиса потянулась, хрустнула плечами — сидячая работа, спина уже ныла — и посмотрела на экран.

Сигнал.

Она моргнула. Посмотрела снова. Протёрла глаза тыльной стороной ладони — перчатка холодная, глаза тёплые, контраст отрезвляющий. На фоне ровного шума — всплеск. Не радиоимпульс, не оптическая вспышка, не гамма-всплеск.

Что-то ближе к гравитационному диапазону, но не совпадающее ни с чем, что она знала. Параметры были странные: длительность — около двух секунд, амплитуда — выше фона, но ниже любого зарегистрированного гравитационно-волнового события, даже ниже, чем LIGO ловил на пределе. Частота — низкая, ниже, чем у слияния нейтронных звёзд. Спектр — чистый, без гармоник, как будто кто-то нажал одну ноту на клавиатуре, которой не существовало. Одна нота. Один звук. Один импульс из ниоткуда.

Алиса проверила координаты. Сектор — пустой. Не звезда, не пульсар, не галактика, не туманность, не квазар, не остаток сверхновой. По каталогу — ничего. Космический вакуум, пустота, ноль. Объект, которого не было. Сигнал, который шёл оттуда, где ничего нет.

Она проверила калибровку. Запустила тест — стандартный, полторы минуты, прибор отвечает штатно, зелёные индикаторы, всё в норме. Проверила ещё раз — открыла вторую программу, независимую, написанную Тимуром, и сравнила данные. Всплеск был. Реальный. Не артефакт, не сбой, не шум электроники, не прохождение спутника — спутники она знала по сердечку, и этот был не спутник. Реальный сигнал. Оттуда, где ничего нет.

Алиса записала в журнал наблюдений. Рука не дрожала —

она не из тех, кто дрожит. Перо вывело:

> 06:14 по местному. Аномальный импульс. Координаты RA 14h 32m, Dec $-62^{\circ} 15'$. Длительность ~2 сек. Амплитуда выше фона на 4 сигма. Диапазон — предположительно гравитационный. Природа не определена. Источник — пустой сектор, каталоги не содержат объектов. Отложить до утра, обсудить с Бековым.

И добавила вслух, выключив запись:

— Ну конечно. Кто бы поверил.

Голос прозвучал глухо, безэхом — в куполе ничего не отражалось, всё поглощалось обшивкой, звук падал, как камень в вату. Алиса откинулась в кресле. Посмотрела на плакат. «I Want to Believe». Нахмурилась, будто карточка была виновата. Будто плакат нашептал: вот, верь — а верить страшно, потому что вера обязывает. Если сигнал настоящий — это не статья в журнал. Это — всё. Это — новая физика, новые вопросы, новые беды. Или — ничто. Калибровочный сбой, хотя всё зелёное. Шум, хотя шум не выглядит так. Пустота, хотя пустота не поёт.

Алиса встала, взяла журнал и вышла из купола.

Снаружи было холодно — минус три, четыре градуса, но безветренно, и мороз не кусал, а целовал — крепко, по-сибирски. Небо на востоке едва-едва светлело, горы были чёрными силуэтами, и над ними — последние звёзды, самые яркие, не сдавшиеся рассвету. Юпитер стоял низко над гребнем — яркий, желтоватый, как фонарь. На траве — иней, тонкий, как пудра, и каждый стебель был покрыт кристаллами, и в свете заходящей луны они блестели, как иглы. Воздух был кристальный, прозрачный, с привкусом льда и хвои, и когда Алиса вдохнула до дна, лёгкие заныли от холода. Хорошо. Больно и хорошо — как бывает, когда живёшь.

Она дошла до бытовки. Открыла дверь — тепло, запах спального мешка, остывшего чая, Тимуриного шампуня, который пах мятой и чем-то ещё, химическим, из рекламы. Тимур спал на раскладушке, лицом к стене, подложив куртку под голову. Спал глубоко, беззвучно, в той позе, в какой засыпают только очень молодые или очень уставшие люди — и Тимур был и тем, и другим. Двадцать шесть лет, третий год на обсерватории, аспирант заочного отделения, пишет диссертацию по кинематике галактических скоплений. Днём — шустрый, разговорчивый, с тем южным обаянием, которое бывает у людей с гор, — тёмные глаза, белые зубы, привычка кланяться, здороваясь. Ночью — спал, как убитый.

Алиса остановилась в дверях. Журнал в руке. Тимур не

шевелился. Она посмотрела на его затылок — на тёмные волосы, спутанные после сна, на руку, свешивающуюся с края раскладушки, на пальцы — длинные, с мозолью от телескопа на указательном. Мозоль — на правой руке, потому что Тимур наводил телескоп правой, и рукоятка была жёсткая, и кожа огрубела. Мозоль была маленькая, жёлтая, и Алиса знала, что она есть, потому что однажды, месяца три назад, Тимур показал ей — пошутил: «Вот, след профессии. Как у скрипача, только у скрипача — на шее, а у меня — на пальце. Из нас никто не хочет делать музыку. Мы — музыканты тишины». Он смеялся. Алиса не смеялась, но запомнила.

Он был красивый, когда спал. Алиса подумала это и вычеркнула — привычным жестом, внутренним, как зачёркивают строку в черновике. Было, нет, стёрто. На обсерватории нельзя. Работа важнее. Она так решила, когда они с Тимуром начали смены вместе, полтора года назад, и не нарушала. Хотя иногда — вот как сейчас, в свете утренней лампы, с журналом в руке и тишиной вокруг — нарушать хотелось. Не сильно, не отчаянно — тихо, как хочется порой нарушить диету. Просто — посмотреть лишнюю секунду.

Она положила журнал на стол, рядом с его телефоном. Утром увидит. Прочитает. Сначала не поверит — Тимур был скептик, упрямый, осторожный, из тех, кто трижды проверяет, прежде чем один раз удивится. Потом проверит — свои-

ми методами, своим кодом, своим упрямством. Потом поверит — и поверит крепче, чем нужно, потому что Тимур был такой: сначала сомневался, потом верил целиком, без оговорок. Алиса знала это и поэтому не будила. Пусть поспит. Это последняя ночь, когда он спит, не зная.

Алиса вышла из бытовки, тихо закрыв дверь. Рассвет над горами начался — первый свет, голубоватый, осторожный, будто солнце проверяло, не страшно ли. Небо было чистое, без облаков, и на западе ещё держалась тьма, тяжёлая, как бархатная штора. Где-то внизу, в долине, запела птица — одна, длинно, высоко, и замолчала, будто поняла, что рано. Ибы стояли по склону — тёмные, неподвижные, и от них шёл холод, и пахло хвоей, и земля под ногами была жёсткая, мёрзлая, и Алиса стояла на ней и чувствовала: что-то не так. Не в воздухе, не в свете — в чём-то другом, неуловимом, как запах, который не можешь определить. Как будто мир был сегодня чуть-чуть другим. Чуть-чуть — на три тысячных, на четверть, на восемь сантиметров. Чуть-чуть.

Она вернулась в купол. Села в кресло. Посмотрела на экран — сигнал не повторился. Ровный шум, ровный фон. Будто ничего не было. Будто нота прозвучала и исчезла, и осталась только запись в журнале, и память о том, как она звучала — чисто, одиноко, из ниоткуда.

Алиса посмотрела на плакат. «I Want to Believe».

— Поверила, — сказала она тихо. — Только не знаю во что.

В Москве в это время — десять утра — солнце вышло из-за домов, и свет упал на город ровно, тёплым углом, как ладонь на плечо. Марк стоял у окна в институте, допивая второй кофе — из автомата, горький, с привкусом пластика, но горячий, и это считалось. Внизу, во дворе, дворник закончил работу и сидел на лавке, курил, и дым от сигареты поднимался ровно, без ветра, вертикальной нитью. На скамейке у подъезда — женщина, которая гуляла с пуделем, теперь сидела рядом с кем-то ещё, обе смеялись. Окно было закрыто, и Марк не слышал смеха, но видел по плечам — по тому, как они вздрагивали, как наклонялись друг к другу, как пудель сидел у ног и смотрел на них с тем собачьим недоумением, которое означает: я не понимаю, но мне хорошо.

Марк подумал о Соне. Нужно позвонить Лене, договориться о звонке. Может, сегодня вечером, часов в восемь, когда Соня поужинает и сделает уроки — или не сделает, что более вероятно. Он представил, как наберёт номер, и Лена ответит: «Алло?» — ровно, без приветствия, без имени, по-

тому что они давно прошли тот этап, когда имена нужны. И он скажет: «Это Марк. Можно Соню?» И Лена скажет: «Подожди» — и положит трубку, и он будет слушать, как она идёт по квартире, и потом — голос Сони: «Пап?» Одно слово, и в нём — всё. Весь мир. Вся физика, все формулы, все уравнения — ничто по сравнению с этим словом из четырёх букв.

А потом он скажет: «Привет, Сонечка. Как дела в школе?» — и Соня ответит: «Нормально» — этим словом, которым дети отвечают на всё, от плохой оценки до сломанного сердца. А потом он спросит: «Что нового?» — и Соня скажет: «Ничего» — и он не будет знать, что ещё спросить, и повиснет пауза, и в этой паузе будет всё, что он потерял: не слова, не время — а воздух. Воздух между ним и дочерью, пустой, разрежённый, как на высоте четырнадцатого этажа, только без окна.

Марк отвернулся от окна. Допил кофе. Поставил чашку на стол, рядом с ноутбуком, рядом с уравнениями, рядом с грантовым отчётом, срок по которому — неделя. Обычный день. Обычный понедельник. Город за окном жил — машины, люди, пудели, дворники — и не знал, что живёт в последний раз. Не «последний раз» в смысле конца — а последний раз, когда всё было обычным. Когда лестницы были лестницами, а поезда — поездами, а голуби — голубями. Когда гравита-

ция была гравитацией.

Ничего не предвещало.

В Москве — солнце, кофе, уравнения. На Алтае — рас- свет, иней, журнал с записью. В Тихом океане — восемь сан- тиметров воды, которые не должны были там быть. В космо- се, в пустом секторе, откуда пришёл сигнал, — тишина. Од- на нота прозвучала и исчезла, и мир не услышал. Или услы- шал, но не понял. Или понял, но не поверил.

Ничего не предвещало. В этом и была главная ошибка.

Глава 2. Тридцать процентов

1

Будильник не прозвенел — но не потому, что Марк за- был его поставить. Он просто не ставил. В этот день Марк проснулся в 6:31 — на минуту позже обычного, — и это бы- ла уже аномалия: его тело, натренированное на четыре часа сна, не давало поблажек. Но сегодня поблажка была, и Марк не заметил её, как не замечал дыхания, как не замечал гра- витации. Она была всюду, и потому — нигде.

Он сидел на краю кровати, пружины вздыхали привычно. Квартира молчала. Буква «С» в дальней комнате по-прежнему подмигивала из-за обоев. Кофе на кухне — та же турка, та же гуща, та же белая чашка со сколом, которую Лена ненавидела. Марк пил стоя, у окна. Утро было серое, обычное, московское, и ничто в нём не отличалось от вчерашнего. Дворник мёл. Пудель бежал. Машины по ТТК текли красной лентой. Четырнадцатый этаж, и — да, — лёгкое головокружение, привычное, как утренний кофе, как скрип лифта, как тишина в комнатах, куда он не заходил.

Головокружение было. Марк не обратил внимания.

Он оделся — те же джинсы, тот же свитер, те же ботинки с хрустящей подошвой. Вышел. Лестница. Четырнадцать этажей вниз, по счёту, по привычке. На девятом — снова лёгкость, как вчера. На седьмом — снова. Едва заметно, как дуновение из приоткрытой форточки, — но Марк списал. Кофе. Недосып. Давление. Три объяснения, ни одного верных, и все три — удобных.

У сквера — голуби. Стая взлетела, и Марк машинально отметил: снова высоко. Выше, чем позавчера, выше, чем вчера. На полметра? На метр? Нет, показалось. Тёплый воздух от вентиляционных шахт, восходящий поток, термик. Город

дышит снизу. Он не был орнитологом и не собирался.

В ларьке — бутерброд, пластилин с привкусом холодильника. В метро — статья, слова плывут, поезд качается на повороте, и снова — толчок слабее. Ещё слабее, чем вчера. На треть? На половину? Марк не считал. Он стоял у двери, держался за поручень, и рука не напрягалась, и тело не клонило, и женщина рядом даже не подняла головы от телефона. Всё в порядке. Город не знал ничего.

Институт. Пять этажей, плитка, которая отваливается. Кабинет, окно во двор, доска с уравнениями. Марк открыл ноутбук, запустил грантовый отчёт — неделя до дедлайна, текст есть, слова пустые, нужен результат. Раздел 3.2 статьи, граничные условия, которые он откладывал с четверга. Он начал писать, и время побежало — без следа, без ощущения, как всегда.

В девять тридцать Дима вошёл без стука. Линейка в кармане, след от ручки на ладони, лицо аспирантское — то самое, которое означает: я что-то нашёл, но не знаю, что с этим делать.

— Марк Андреевич, утренние показания. Гравиметр.

Он положил распечатку. Марк посмотрел. График —

непрерывная линия, почти ровная, обычный шум. И снова всплеск — маленький, но больше вчерашнего. Не три тысячных. Пять.

— Пять тысячных, — сказал Дима. — Вчера три. Позавчера — две, я проверил архив. Тренд.

Марк посмотрел на шкалу. Пять тысячных. В масштабах лабораторных погрешностей — ничего. Гравиметры чувствительные, но не сверхчувствительные. Проходящий грузовик, грунтовые воды, магнитная аномалия.

— Калибровку делал?

— Два раза. Всё зелёное.

— Грунтовые воды?

— Проверил с геофизиками. Норма.

Марк помолчал. Пять тысячных. Вчера три. Позавчера две. Тренд. Маленький, пологий, едва различимый — но тренд. Растущий.

— Запиши в журнал, — сказал он. — Если к обеду не повторится — забудь.

Дима кивнул, но не ушёл. Постоял, переминаясь, и спросил:

— Марк Андреевич, а может, гравиметр на профилактику поставить? Перекалибровать с нуля?

— Не сейчас. После отчёта.

Дима вышел. Марк не смотрел ему вслед. Пять тысяч-ных. Вчера три. Позавчера две. Три числа, и между ними — направление. Вверх. Но «вверх» в гравиметрии — значит вниз, значит гравитация слабеет, и Марк подумал об этом на секунду, на полсекунды, и отмахнулся. Шум. Погрешность. Грантовый отчёт. Раздел 3.2. Он вернулся к работе.

В десять Марк позвонил Лене. Телефон гудел — долго, четыре гудка, пять, шесть. Потом ответила. Голос был на ходу, на фоне — ветер, крики, стук.

— Алло?

— Это Марк. Можно Соню?

— Она в школе. Позвони вечером.

— Когда?

— В семь. Не в восемь. У неё кружок астрономии.

— Астрономии? — Марк не знал, что Соня записалась в кружок. Это было как новость о том, что кто-то из твоей крови делает то же, что и ты, только по-другому, — не через формулы, а через звёзды, не через уравнения, а через телескоп.

— Да. В семь, — Лена положила трубку первой.

Марк посмотрел на экран. Длительность звонка: сорок семь секунд. Он запомнил это число — не намеренно, а так запоминают вещи, которые потом станут важными: последняя цифра перед обвалом, последняя нота перед тишиной.

Радио через стену — «Маяк», приёмник хрипит. Новости: японское метеорологическое агентство уточнило данные по аномальному приливу. Не восемь сантиметров — двенадцать. Сейсмической активности по-прежнему нет. Объясняют атмосферным давлением. Марк не слышал. Но где-то на периферии — то же сторожевое чувство, что вчера, что утром: четыре звена цепи, и пятое на подходе.

В 11:47 мир изменился.

Не взорвался, не треснул, не обрушился — изменился. Тихо, мгновенно, как переключают канал. Одна реальность — и другая, и между ними нет шва, нет паузы, нет перехода. Просто — щелчок.

Марк сидел за столом. Раздел 3.2 был почти дописан — ещё полстраницы, ещё две формулы, ещё одна поправка к граничным условиям. Рука с маркером двигалась по доске, и уравнение выстраивалось, как стена из кирпичей, — ровно, аккуратно, красиво. Марк писал и не думал о том, что пишет, — думал о Соне, о кружке астрономии, о том, что значит, когда твой ребёнок смотрит вверх, а не вниз, не в телефон, не в тетрадь. Смотрит вверх. К звёздам. Может, это она — единственная, кто видит правильно.

В 11:47 он откинулся в кресле. Потянулся, хрустнул плечами. Маркер положил на стол. И в этот момент —

Сначала — звук. Не взрыв, не гул. Скорее, отсутствие звука. Будто мир на полсекунды выдохнул и забыл вдохнуть. Тишина, которая не тишина, а провал — как пауза перед чи-

ханьем, только на уровне города. На уровне всего. Будто кто-то выключил фон, на котором играла жизнь, и осталась голая тишина, и в ней — ни одного звука, и от этого — оглохнуть можно.

Потом — тело. Стул под Марком качнулся. Не оторвался от пола — нет. Просто давление, которое стул оказывал на пол, ослабло. И Марк, вместе со стулом, стал на какую-то долю легче. Будто кто-то тихо, аккуратно, без предупреждения — выкрутил ручку гравитации на тридцать градусов влево. Не до нуля, не до невесомости — просто вниз. Просто меньше.

И сразу — мир. За окном, одновременно, — всё. Голуби в сквере взлетели разом и поднялись выше — значительно выше, на десять, пятнадцать метров, и не знали, куда сесть, и кружились, как потерянные. Машина на ТТК, проезжающая по небольшому виражу, кренится — не сильно, но водитель ловит рулём, как на льду. Качели во дворе, пустые, качнувшиеся от ветра, — взмывают выше, чем должны. Выше. Неправильно. Всё — на полсекунды, на мгновение. А потом — не возвращается.

Марк встал. Инстинктивно, как встают, когда что-то не так. Ноги на полу — нормально, но легче. Будто пол пружинит. Будто Марк не весит восемьдесят два килограмма, а —

пятьдесят восемь. Он сделал шаг — и шаг длиннее обычного. Не намного, на сантиметр-два, но тело знает: что-то не так. Тело знает раньше, чем голова. Тело всегда знает раньше.

3

Гравиметр на столе — цифровой, с непрерывной записью — показывал то, что Марк не мог прочитать с первого взгляда. Не потому что цифры непонятные, а потому что мозг отказывается. Как когда видишь лицо человека, которого нет в живых, — узнаёшь, но не веришь, и смотришь ещё раз, и ещё, и мозг цепляется за любую деталь, которая может объяснить: ошибка, мираж, сбой.

Ускорение свободного падения: 6,87.

Не 9,81.

Марк смотрел. Моргнул. Посмотрел снова. Шесть целых, восемьдесят семь сотых. Он знает это число. Он знает, что оно означает. Он знает, что оно не может быть здесь. Не в Москве, не на третьем этаже института имени Столетова, не в лаборатории, где он работает четвёртый год, не в мире, где гравитационная постоянная — $(G = 6\{, \}674 \times$

10^{-11}) — не меняется, не может меняться, не менялась за четырнадцать миллиардов лет.

Марк — физик, и физик сначала проверяет. Он не верит прибору — он делает то, что делал бы любой: калибровка. Нажимает кнопку теста. Зелёный. Перезапуск. Снова 6,87. Он встаёт, выходит в соседнюю лабораторию — третий гравиметр, резервный, другой модели, другой производитель. 6,87. В четвёртой — старый, аналоговый, с пружинным маятником, с шкалой, по которой нужно смотреть на глаз. Около шести-семи. Все приборы согласны. Все приборы говорят одно и то же. И все приборы лгут — потому что этого не может быть.

Марк считает в уме, привычно, как дышит. $(9,81 - 6,87) / 9,81 \approx 0,30$. Тридцать процентов. Ровно. Не двадцать девять, не тридцать один — тридцать. Гравитация упала на тридцать процентов. За секунду. Без причины, без предупреждения, без физического механизма, который Марк — или кто-либо — мог бы назвать.

Гравитационная постоянная не меняется. Это — фундамент. Не гипотеза, не теория — фундамент. Аксиома, на которой стоит всё: орбиты планет, приливы, атмосфера, тектоника, дыхание, шаг, падение яблока, вес стула, вес тела, вес

мира. Если $\backslash(G\backslash)$ меняется, то меняется всё. И $\backslash(G\backslash)$ не меняется. Этого не может быть. Этого не происходит. Этого — не бывает.

Но приборы показывают 6,87. Все четыре. И стул под Марком легче. И шаг длиннее. И голуби не могут сесть.

Марк бледнеет. Он не видит своего лица — но чувствует: холод в животе, как если бы выпил ледяной воды залпом. Руки на столе, на приборе, неподвижные, но внутри — мелкая дрожь, как у струны, которую задели. Он — физик-теоретик, и его работа — думать о невозможном, выводить его на бумаге, представлять в уравнениях. Но невозможное, которое стоит перед тобой и смотрит тебе в глаза цифрами 6,87, — это другое. Это не теория. Это данные. Это стул, который легче. Это шаг, который длиннее. Это мир, который изменился на треть и даже не извинился.

Марк хватается телефон. Набирает — внутренний, Вершинин, начальник отдела. Гудки. Один, два, три.

— Да?

— Игорь Петрович, нужно видеть. Сейчас. Гравитация упала.

Пауза.

— Что?

— На тридцать процентов. Приходите в лабораторию. Все приборы подтверждают.

Ещё пауза — длиннее, гуще. Марк слышит, как на том конце кто-то отодвигает стул.

— Марк, вы шутите?

— Я не шучу. Игорь Петрович, я в жизни не шутил так мало.

4

В это время — в те же секунды, пока Марк смотрел на цифры, — мир уже сходил с ума. Не весь, не сразу, но — везде, понемногу, как вода, которая просачивается сквозь трещину в плотине: сначала тонкой струйкой, потом — ручьём, потом — потоком.

В парке напротив института — будний полдень, немно-

го гуляющих. Молодая мама с коляской — коляска катится быстрее, чем должна, по ровной дорожке, и мама удивлённо тянет за ручку, и коляска послушно останавливается, но слишком резко, будто кто-то затормозил за неё. Бегун на дорожке — делает шаг, и шаг уносит его на полметра дальше, чем обычно, и он едва не падает, хватая воздух, и пробует ещё — и снова, и снова, и каждый шаг длиннее, и он не понимает, и бежит дальше, и бежит быстрее, и не может остановиться, потому что ноги не слушаются в новом мире, где каждое движение — больше, чем ты хотел.

Дети на карусели — карусель раскручена, и на повороте детей не прижимает к сиденьям, как обычно, а наоборот — они почти парят, приподнимаются, и кто-то визжит от восторга, кто-то — от страха, и мать у карусели кричит: «Осторожно!» — но не знает, что случилось, и хватается за стойку, и стойка под её рукой кажется легче, и она не понимает, и крутит карусель медленнее, и дети всё равно парят, и визжат, и не понимают тоже.

Пожилая пара на скамейке — женщина встаёт, и движение слишком быстрое, слишком резкое, будто её подтолкнули. Она хватается за мужнину руку. Мужчина хватается за локоть. Оба не понимают. Оба чувствуют: что-то не так, но не могут назвать, как не могут назвать запах, который не определить, — он есть, он повсюду, но у него нет слов.

В начальной школе, тридцать секунд от парка — перемена. Дети бегают, и бегут быстрее, прыгают дальше, взлетают на качелях выше. Один мальчишка — лет семь, в красной куртке — разбежался и прыгнул с турника, как обычно прыгает: оттолкнулся, приготовился приземлиться через полметра — и улетел на метр. Упал, расплескался, поднялся — глаза круглые, как блюдца. Через секунду — весь двор прыгает. Дети прыгают с бордюров, с лавок, с ступенек — и взлетают на метр, на полтора, на три. Кто-то с визгом, кто-то со смехом. Третьеклассники на крыльце — пятаются от ограды, потому что прыгать страшно, потому что земля далеко, потому что воздух держит, и это неправильно, и они это знают — не из физики, из тела, из инстинкта, который говорит: так не бывает.

Учительница кричит: «Стойте! Всем стоять!» — но голос тонет в визге, и она сама, сделав шаг к детям, чувствует, как ноги стали лёгкими, и останавливается, и хватается за перила, и перила — единственное, что пока надёжно. Деревянные, шершавые, отшлифованные тысячами детских рук. Она держится за них и смотрит, как её дети взлетают, и не понимает, и кричит, и никто не слышит.

В спортзале — старом, с высоким потолком и матовыми плафонами — физкультура, пятый класс. Баскетбольный

матч, несерьёзный, вялый, как обычно. Один из мальчиков бросает мяч в кольцо — обычный бросок, снизу, неумелый, какой бросают десятилетние, когда хотят попасть и знают, что не попадут. Мяч летит — выше, дальше, быстрее, чем должен. Не в кольцо — в потолок. Ударяется в плафон — треск, пластик разлетается, осколки падают — медленно, неестественно медленно, как в замедленной съёмке, как в сне, где всё происходит под водой. Мяч отскакивает от потолка и спускается — и спуск тоже медленный, плавный, как будто мяч не падает, а опускается, будто воздух стал гуще, будто гравитация — нет, не подумал, — будто что-то изменилось, и мяч это знает, и тело знает, и пол под ногами знает.

Дети замирают. Учитель физкультуры — молодой, крепкий, бывший регбист, с квадратной челюстью и привычкой говорить коротко — смотрит на мяч, на потолок, снова на мяч. Потом — тихо, без паники, но голосом, от которого дети затихают:

— Всем сесть на пол.

Дети садятся. Учитель садится последним. Пол — единственное, что пока надёжно. Пол и учитель. Дети сидят, обхватив колени, и смотрят на осколки плафона, которые ещё кружатся в воздухе, медленно, как снежинки.

Игорь Петрович Вершинин пришёл через четыре минуты. Марк слышал его шаги по коридору — быстрые, тяжёлые, быстрее обычного. Вершинин был грузный, в очках, которые сползали на нос, — типичный научный администратор, уже больше бюрократ, чем физик, но с остатками интуиции, с тем внутренним радаром, который отличает «странно» от «невозможно», и который сейчас говорил ему: невозможно. Он вошёл, тяжело дыша, и сразу — к столу, к гравиметру.

Марк показал данные. Вершинин смотрел — снял очки, протёр, надел. Смотрел снова. На экране — 6,87. Непреклонное, ровное, не мигающее.

— Калибровку делал?

— Три раза. Все четыре гравиметра.

— Геомагнитный фон?

— Норма. Я проверил.

— Лунный прилив?

— Игорь Петрович, это не прилив. Прилив — микрогалеоны. Здесь — тридцать процентов. Треть гравитации. За секунду.

Вершинин помолчал. Он — не дурак. Он знает, что это значит, даже если не хочет знать. Он говорит то, что должен сказать:

— Марк, гравитационная постоянная не меняется. Это — фундамент. Если она меняется, то...

И не заканчивает. Потому что если $\backslash(G\backslash)$ меняется, то меняется всё — орбиты, приливы, атмосфера, тектоника. Всё. И Вершинин не может это сказать вслух, потому что сказать — значит допустить, а допустить — значит войти в мир, где физика сломалась, где его тридцать лет работы, его диссертация, его статьи, его кафедра — всё это мусор, потому что фундамент, на котором оно стояло, исчез за секунду.

В этот момент — телефон. Звонок из дежурной части института:

— У нас... что-то странное. По трассе — аварии. Несколько. Машины переворачиваются на ровных участках. Водители говорят — их кинуло.

И второй — из соседнего здания, геофизики:

— Вы видите данные? У нас то же самое.

И третий — из Москвы-реки, гидрологи:

— Уровень воды упал на сорок сантиметров за пять минут. За пять минут, вы понимаете?

Всё — одновременно. Всё — одинаковое. Тридцать процентов. Вершинин стоял, и трубка в его руке потихоньку опускалась, и лицо его — обычно красное, грузное, уверенное — становилось серым, как стена. Он сказал:

— Я звоню наверх.

И стал звонить — в Министерство науки, в РАН, в кризисный центр. Голос его, обычно ровный, бюрократический, сейчас был быстрым, рваным, с паузами на середине слов, как будто язык не поспевал за мыслью. Марк не слушал. Марк стоял у окна и смотрел на город.

И видел: голуби — те самые, утренние, вчерашние, každодневные — взлетают стаями, но не садятся. Кружатся, не могут сесть. Будто воздух держит их сильнее, чем земля при-

тягивает. Будто мир перевернулся, и небо стало полом, а пол — потолком. И машины внизу — на ТТК, на перекрёстке — одна остановилась слишком резко, качнувшись вперёд, и задняя — в неё, и третья — в заднюю, мелкая цепочка, и водители выходят, и лица у них одинаковые — не злые, не испуганные, а растерянные, как у людей, которых ударили в темноте и которые не видят, откуда. И качели во дворе — пустые, но качающиеся, и амплитуда — больше, чем должна быть, и они взмывают до перекладины, и на спуске — не тормозят, а ускоряются, и цепи скрипят, и никого нет, и качели качаются сами по себе, и это страшнее всего, потому что качели, которые качаются сами, — это уже не странность, это уже знамение.

6

К двенадцати — через тринадцать минут после скачка — стало ясно, что это не Москва. Не парк, не школа, не спортзал, не институт. Это — везде. Везде, где были люди, и везде, где их не было. Планета. Целиком.

Москва. Двор. Дворник — тот самый, с метлой, в оранжевом жилете — стоит посреди двора и смотрит вверх. Его метла, прислонённая к лавке, не упала — а медленно накло-

нилась и сползла, как в невесомости, будто метла стала легче, будто дерево и щетина потеряли треть своего веса и не знают, что делать с этой потерей. Дворник не понимает. Он будет стоять так ещё минуту, а потом сделает шаг — и шаг унесёт его на метр, и он не упадёт, но испугается так, как не пугался с войны. Он жилой, ещё помнит, как боялся — по-настоящему, до костей, — и сейчас тело вспомнит, и ноги станут ватными, и он сядет на лавку, и лавка скрипнет, и скрип будет обычный, и от этого обычного звука станет ещё страшнее, потому что обычное в необычном мире — самое страшное.

Москва. Стройплощадка. Лена — на высотном здании, тридцатый этаж, в каске, с планшетом. Она проверяет сварные швы на несущей балке, когда кран несёт бетонную плиту — и плита качнулась на крюке неестественно, маятник стал длиннее, амплитуда — больше, и крановщик не справляется, плита уходит в сторону, туда, куда не должна. Лена кричит: «Стоп! Все вниз!» — и рабочие начинают спускаться по лесам, и леса под их ногами пружинят, и каждый шаг — длиннее обычного, и каждый — осторожнее, и люди хватаются за перила, и перила дрожат, и леса дрожат, и здание — нет, здание стоит, оно ещё стоит, но Лена — инженер, и она знает. Расчётные нагрузки больше не действуют. Здание рассчитано на 9,81 — а сейчас 6,87. Здание переконструировано. Оно может не устоять. Не сейчас, не сегодня — но ветер, земле-

трясение, нагрузка, которая раньше была в пределах нормы, теперь — за пределами. Здание, которое она строила три года, — чужое в новом мире. Неправильное. Опасное.

Лена спускается последней. Ноги касаются земли — и земля встречает её мягче, чем должна. Она стоит на стройплощадке, смотрит вверх — на тридцать этажей бетона и стекла, которые держатся на расчётах, которые больше не верны, — и думает: что теперь? Что теперь делать с зданием, с городом, с миром, в котором цифры, выверенные до миллиметра, вдруг стали неточными на треть?

Нью-Йорк. Таймс-сквер. Турист — в шортах, с фотоаппаратом, загорелый, из тех, кто снимает себя на фоне всего — спрыгивает с бортика фонтана. Обычно — полметра, шажок, идиотский, весёлый, как прыгают с бордюров, когда настроение хорошее и солнце светит. Сейчас — улетает. Не вверх, не в полёт — просто прыжок длиннее, выше, и он поднимается на уровень второго, третьего этажа, и хватает воздух, и воздух не держит, и он падает — не на асфальт, а на тент магазина, пробивает его, рвёт ткань, остаётся жив, но кричит. Кричит так, как кричат люди, которые не понимают, что произошло, — не от боли, а от ужаса, от того, что мир, который был секунду назад надёжным, вдруг стал мягким, нена-

дѣжным, как трясина.

Толпа на Таймс-сквер — сначала замирает. Потом — паника. Люди понимают не сразу, потому что в Нью-Йорке всё странное списывается на город: уличные музыканты, оголтелые проповедники, мимы, такси, которые едут на красный, — странность здесь норма. Но когда второй человек — женщина, с сумкой, которая спрыгивает с поребрика и улетает на метр, и хватается за фонарь, и фонарь качается, — и третий, и четвёртый — прыгают дальше, выше, не так, — начинается. Не крик, не бег — сначала. Сначала — тишина. Тишина, которая бывает, когда толпа одновременно понимает: что-то не так. А потом — крик. А потом — бег. И Таймс-сквер, который никогда не был тихим, который гудел и днём и ночью, который был шумом, стал тишиной, и в этой тишине — визг тормозов, гудки, и одинокий голос: «What the hell? What the hell?»

Токио. Синкансэн — скоростной поезд, белая пуля, которая рассекает остров на триста километров в час — на повороте, в окрестностях Токио, на участке, где скорость снижена до 270. Расчётная центробежная сила на повороте заложена в конструкцию рельсов: крен, радиус, компенсация — всё под 9,81, всё под мир, в котором поезда не сходят с

рельсов, потому что физика работает, потому что инженеры считают правильно, потому что гравитация — константа. При 6,87 — поезд не вписывается. Внешняя сторона, внешний рельс — недогружен. Внутренний — перегружен. Разница — тридцать процентов, треть запаса прочности, треть расчётной массы, треть того, что держало колёса на рельсах.

Поезд кренится наружу — на пять, на десять градусов — и сходит. Не катастрофически, не вертикально — но рельсы скрежещут, колёса рвут структуру, металл воеет, как живой, и два вагона опрокидываются, медленно, почти плавно, как в замедленной съёмке, как во сне, в котором всё происходит под водой. Пассажиры — пристёгнутые, большинство, японцы, дисциплинированные, привычные к землетрясениям — но не к этому. Не к этому. Землетрясение — снизу, оно трясёт, его можно пережить, укрывшись, вцепившись. Это — сбоку, это тянет, это — наружу, и нет «укрыться», нет «вцепиться», есть только гравитация, которая неправильно тянет, и поезд, который не должен был крениться, кренится, и мир за окном наклоняется, и небо становится стеной, и стена — небом.

Крики. Тишина. Потом — сирены. Сирены, которые в Японии означают: что-то случилось, что-то настоящее, что-то, что нельзя списать на пробку или опоздание. Сирены — и тишина после, и в тишине — стук, стук, стук: колёса, ко-

которые крутятся в воздухе, в котором больше нет рельсов.

И — Брюховецкая. Станица в Краснодарском крае, маленькая, тихая, с пыльными улицами, с курами на заборах, с собаками на цепях, с бабками на лавочках, с миром, который не менялся сто лет, с миром, который и не должен меняться, потому что в станице менять нечего — всё уже есть, и всё правильно, и гравитация, и петухи, и пыль.

Петух — рыжий, с зелёным хвостом, с тем вызывающим, нахальным видом, который бывает только у петухов и у людей, уверенных в своём праве на этот мир, — взлетает с насеста на заборе, как каждое утро, собираясь спуститься во двор. Обычно — полметра вниз, шажок, взмах, и на земле, и клюёт, и кукарекает, и всё правильно. Сейчас — взмывает вверх, на крышу сарая, и сидит там, и не может спуститься, потому что каждый взмах уносит его выше, а не ниже, потому что воздух держит, а земля не тянет, потому что мир изменился, и петух не знает, потому что петухи не знают физики, но знают, что вверх — это не туда, и вниз — не сюда, и что-то — не так. Он кукарекает — тревожно, зло, не так, как по утрам, а так, как кричат, когда зовут на помощь, — и хозяйка выходит на крыльцо, и видит петуха на крыше, и думает: «Чего он туда полез?» — и делает шаг с крыльца,

и шаг уносит её на метр, и она хватается за перила, и перила скрипят, и скрип — обычный, деревенский, как скрипят перила сто лет, — и от этого обычного скрипа становится страшнее, потому что перила — правильные, и крыльцо — правильное, и станица — правильная, а мир — нет. Мир — неправильный. Мир изменился, и станица осталась, и петух на крыше, и хозяйка у перил, и пыль на дороге, и солнце над сараем — всё на месте, и ничего на месте, потому что тридцать процентов — это не число. Это граница. По одну сторону — мир, в котором Марк вырос, в котором Лена строила, в котором Соня мечтала стать космонавтом, в котором поезда ездили, а петухи спускались. По другую — мир, в котором ничего этого нет. Есть — но не так. Есть — но на треть легче, на треть слабее, на треть ближе к небу.

Тридцать процентов.

В Москве, в Нью-Йорке, в Токио, в Брюховецкой — тридцать процентов. Мир стал легче на треть, и от этой лёгкости было тяжелее, чем от всего, что Марк когда-либо знал.

Он стоял у окна — в лаборатории, на третьем этаже, в институте имени Столетова — и смотрел, как голуби кружатся и не могут сесть. И думал: это — начало. Не конец, не ката-

строфа, не финал — начало. Три тысячных — вчера. Пять — сегодня утром. И теперь — тридцать процентов. Тренд. Тренд, который он не увидел, не услышал, не понял, — отмахнулся, списал, забыл. Три тысячных — и тридцать процентов. И между ними — один день. Один день, и мир изменился на треть, и Марк стоял в этом новом мире и не знал, что будет завтра. Не знал, будет ли завтра. Не знал, вернётся ли 9,81 — или 6,87 — это навсегда. Не знал, есть ли дальше — дальше тридцати процентов, дальше этой лёгкости, которая тяжелее любого веса.

За стеной радио — «Маяк», приёмник хрипел — диктор говорил, и голос его, обычно ровный, привычный, спокойный, — дрожал. Не от страха — от непонимания. Диктор говорил:

— ...по предварительным данным, аномалия зафиксирована по всему миру. Природа происхождения устанавливается. Рекомендуются...

И замолчал. Приёмник шипел. Марк не слушал. Марк смотрел на голубей, которые не могли сесть, и на город, который не знал, что делать, и на небо — серое, московское, обычное, — которое было тем же самым, что и час назад. Небо не изменилось. Земля не изменилась. Воздух не изменился. Изменилось — невидимое, неосознаваемое, то, что дер-

жит всё и что нельзя увидеть, нельзя потрогать, нельзя понюхать. Тридцать процентов невидимого. Тридцать процентов того, чего нет — и которое есть всё.

Марк закрыл глаза. В темноте — Сонин голос: «Пап?» Одно слово, и в нём — весь мир. И Марк подумал: нужно позвонить. Не в семь. Сейчас. Нужно позвонить Лене, и сказать: «Можно Соню?» — и Лена скажет: «Она в школе», — и он скажет: «Забери её. Забери и держи. Держи крепко. Потому что мир изменился, и я не знаю, что будет дальше, но я знаю, что хочу, чтобы она была на земле. На земле, а не в воздухе. На земле, где тяжело, где трудно, где гравитация тянет вниз, но зато — вниз, зато — домой».

Он набрал номер. Телефон гудел — долго, бесконечно, как эхо в пустой комнате. Гудок. Гудок. Гудок. И — тишина. Абонент недоступен.

Марк опустил телефон. Посмотрел на экран: 6,87. Посмотрел в окно: голуби. Посмотрел на город: хаос. И подумал: тридцать процентов. Один день назад — три тысячных, и он отмахнулся. Сегодня — тридцать процентов, и мир стоит на краю. А завтра?

Этого он не знал. Никто не знал. Ни Вершинин, который звонил в министерство и не дозванивался. Ни диктор по ра-

дио, который замолчал на полуслове. Ни петух на крыше сарая в Брюховецкой, ни турист на тенте в Нью-Йорке, ни краповщик на тридцатом этаже в Москве, ни машинист синкансена, который стоял среди опрокинутых вагонов и смотрел на небо, которое стало стеной.

Тридцать процентов. И — тишина. И — ожидание. И — никто не знал, что будет дальше.

Но это было только начало.

Глава 3. Аэродинамика паники

1. Первый час: шум

Девушка лет двадцати, сидевшая в кафе у окна на Тверской, снимала на телефон, как мужчина через дорогу подпрыгнул с бордюра и улетел на полтора метра. Она смеялась — думала, вирусный трюк, перформанс, какой-нибудь флешмоб. Выложила в TikTok с хештегом #GravityGlitch. Через восемь минут видео набрало сто тысяч просмотров. Через пятнадцать — миллион. К тому моменту девушка уже не смеялась, потому что официант нёс ей кофе, и чашка в его руке качнулась — не от тряски, а от того, что рука слишком легко удерживала поднос, и равновесие, на которое мышцы рассчитывали всю жизнь, не сработало. Кофе плеснул на ска-

терть. Официант посмотрел на чашку, как на предателя.

Лента росла как снежный ком. #GravityGlitch, #Чтоэто, #Гравитация, #30процентов — хештеги плодились быстрее, чем люди успевали понять, что происходит. Видео из Нью-Йорка — турист на тенте, уже выложено, уже вирусное. Видео из Токио — опрокинутый синкансэн, снятое с моста, дрожащей рукой, горизонт завален. Видео из парка в Москве — дети на качелях, взлетающие выше перекладины, визг, смех, и кто-то за кадром кричит: «Снимите их! Снимите!» Видео из Брюховецкой — петух, слетевший с крыши сарая и зависший на секунду в воздухе, как в замедленной съёмке, только без камеры. Петух крикнул — тонко, оскорблённо — и приземлился, и встал, и отряхнулся, и пошёл, как ни в чём не бывало. Это видео набрало два миллиона просмотров за час. Петух не знал о своей славе и не интересовался ею.

Всё это было сырьём, хаосом, ещё не сложившимся нарративом. Одни смеялись, другие паниковали, третьи писали «это глубокий космос, ставьте лайк». Никто не понимал. Мир — первый раз в истории — одновременно чувствовал одно и то же и не знал, что это. Так бывает во снах: чувствуешь, что что-то не так, но не можешь назвать, и от неназванного — страх, густой, беспредметный, как туман.

Контраст: в глубине ленты, среди смеха и мемов, — пер-

вые страшные ролики. Человек, прыгнувший с лестницы и улетевший через три ступеньки — ломает ногу, не потому что упал тяжело, а потому что приземлился неправильно: тело не рассчитало, потому что тело помнило старую гравитацию, а гравитация была новой. Водитель, резко затормозивший и вылетевший через лобовое стекло — ремень безопасности рассчитан на определённую инерцию, и она изменилась, и ремень не сработал, или сработал, но не так, или тело прошло мимо него, потому что вес — на треть меньше, и кинематика — другая, и весь расчёт безопасности, на котором стояла автомобильная промышленность полвека, — мусор. Эти видео просматривали меньше — терялись в шуме, как первые капли дождя теряются в пыли. Но они были. И каждый, кто смотрел ленту достаточно долго, рано или поздно наткался на них, и смех застревал в горле.

Марк не смотрел соцсети. Он стоял у гравиметра, и гравиметр показывал 6,87, и мир за окном — голуби, аварии, качели — уже существовал, а соцсети — ещё нет, для Марка. Он был в другом времени. Для него мир изменился в 11:47, и всё, что было после, — не хаос, а данные. Он начинал думать не «что происходит», а «как это возможно». Это был первый сдвиг — от шока к анализу. Марк — физик, и физик в кризисе хватается за формулы, как за поручень в падающем лифте. Не потому что формулы спасут — а потому что без формул вообще ничего не остаётся, и руки на поручне

— хоть что-то, хоть иллюзия опоры.

2. Второй час: лаборатория

Марк собирал коллег. Не официально — просто шёл по коридору, стучал в двери, говорил: «Идите сюда. Все». Сбор в большой лаборатории, третий этаж. Приходили по одному, по двое, тревожно, с вопросами на лицах, с вопросами в руках — распечатки, телефоны, планшеты с графиками.

Вершинин пришёл первым — уже бледный, уже звонивший наверх, в министерство, в РАН, в кризисный центр. Он говорил по телефону, когда вошёл, и не прервал разговора, а сел на стул и продолжал — «Да. Да. Понимаю. Нет, не ошибка», — и голос его, обычно ровный, бюрократический, как проспект, был сейчас рваным, как дорога после дождя. Он положил трубку и посмотрел на Марка, и в его взгляде было то, чего Марк раньше не видел: не страх — растерянность. Вершинин был человек системы, и система давала ему правила, а правила кончились.

Дима пришёл — тихий, с линейкой в кармане, с лицом, на котором читалось: я говорил. Я говорил три дня назад. Мне не поверили. Он не говорил этого вслух — Дима не умел го-

говорить такие вещи вслух, — но выражение лица было красноречивее слов. Он сел в углу, открыл ноутбук, начал выводить данные на экран — графики, тренды, последние показания. Три тысячных, пять, потом — тридцать процентов. Кривая. Экспонента.

Двое геофизиков из соседнего здания — они пришли вместе, уже знали, уже видели свои приборы, уже проверили калибровку, уже убедились: то же самое. 6,87. Они молчали — не потому что нечего сказать, а потому что говорить нечего, когда фундамент провалился. Один из них, пожилой, с седой бородой и руками, привыкшими к камню, стоял у стены и смотрел в пол, и лицо его было лицом человека, который видит землетрясение и знает, что делать — но землетрясение не на земле, а в небе, и делать нечего.

Лев Борисович — математик, шестьдесят два года, борода как у Толстого, очки в роговой оправе, — пришёл последним. Он не доверял компьютерам, не доверял приборам, не доверял людям, которые доверяют приборам. Он принёс с собой тетрадь — обычную, в клетку, — и карандаш, и сел, и начал считать. Молча. С карандашом. В клетку. Так, как считали до того, как появились машины, — руками, головой, карандашом. Он считал, и стирал, и считал снова, и через двадцать минут поднял голову и сказал:

— Шесть и восемьдесят семь сотых. Подтверждаю. Не ошибка.

И добавил, снимая очки и протирая их краем свитера:

— Хотя лучше бы было ошибка.

Молодой постдок из Сколково — его звали Андрей, он занимался численным моделированием гравитационных полей, — запустил модель на ноутбуке. Что должно было произойти, чтобы γ упало на тридцать процентов? Ответ — через сорок минут, когда модель сошлась: ничего из известного. Не изменение G — тогда бы изменились орбиты, а спутники GPS (проверили — Андрей подключился к открытому потоку данных) работали с обычной точностью. Не изменение массы Земли — это невозможно без астрономических событий, которых не было. Не изменение высоты — высота та же. Не эффект относительности — скорость та же. Это было — что-то ещё. Что-то, чему нет названия. Что-то, что не помещалось ни в одну существующую теорию, ни в одну формулу, ни в один учебник.

Сцена была построена как медицинский консилиум: больной — Земля, диагноз — неясен, прогноз — неизвестен. Марк выкладывал данные. Все четыре гравиметра — 6,87. Лев Борисович проверил — своими методами, с карандашом

и бумагой. Результат: те же 6,87. Андрей запускал модель — и модель пожимала плечами, вернее, выдавала сообщение: «Не сходится. Нет известного механизма».

Ключевой момент наступил, когда Дима — тихий, в углу, с экраном, — поднял руку. Жест неуверенный, школьный, будто он не был уверен, что имеет право говорить в компании, где все старше и все умнее. Но поднял.

— Я три дня говорил, что есть тренд, — сказал он. — Три тысячных, пять, потом — тридцать процентов. Это не скачок. Это — кривая. Экспонента.

Он вывел график на большой экран — с проектора, на стену. Точки: две тысячных — три — пять — тридцать. Соединённые линией, которая шла вверх, круто, как склон горы. Если экстраполировать...

Он замолчал. Все в комнате понимали, что значит «экстраполировать». Если тренд продолжится — через сутки будет не тридцать, а семьдесят процентов падения. Через двое суток — сто. Ноль. Невесомость.

И Дима, и Марк, и все — понимали: это не финал. Это — середина. Или — начало.

Лев Борисович сказал:

— Если через двадцать четыре часа $\backslash(g\backslash)$ будет около двух-трёх метров на секунду в квадрате, то атмосфера начнёт истекать. Не сразу, не мгновенно — но давление начнёт падать. Воздух — он ведь держится гравитацией. Нет гравитации — нет воздуха. Нет воздуха — нет... — он не закончил, но все закончили за него, мысленно, и слово «жизнь» повисло в комнате, как дым.

Марк думал о Соне. Не о формуле — о Соне. О звонке, который не прошёл. «Абонент недоступен». Он пробовал снова — и снова. Лена не брала трубку. Он не знал, что Лена в этот момент на стройплощадке, на высоте, без связи, в каске, с планшетом, командует рабочими, спасает крановщика. Он знал только: дочь — далеко, жена — не отвечает, и между ним и ними — город, который не умеет жить в новом мире. Тревога — тупая, давящая, знакомая по годам одиночества — стала острой, как зуб. Марк не мог уйти: данные нельзя оставить, но и дочь нельзя потерять. Он между двумя гравитациями — долгом и любовью, и обе тянули, и обе были сильнее 9,81.

Параллельно — мир учёных молчал. Короткий монтаж, который Марк видел по экрану: ЦЕРН — пресс-релиз: «Изу-чаем». Три слова, ничего, отговорка. LIGO — тишина, сайт

не отвечает, перегружен или отключён. NASA — закрытое совещание, пресс-секретарь вышел через чёрный ход и не ответил ни на один вопрос. Институт в Пекине — сайт отключён, телефон — недоступен. Ни один учёный в мире не готов был сказать: «Я знаю, что это». Потому что никто не знал. И все боялись — не катастрофы, а того, что скажут неправду, и неправда станет паникой, и паника убьёт быстрее, чем падение гравитации.

3. Экстренное совещание

Впервые в романе появлялся Виктор Заречный. Сцена вводила его не через действие, а через пространство: бункер кризисного центра, тридцать метров под землёй, серые стены, люминесцентные лампы, которые не мигали. Ни секунды перебоя, ни тени колебания — свет был ровным, как правило, как закон, как человек, который в этом бункере командовал.

Заречный сидел во главе стола — не потому что хотел, а потому что должен. Ему пятьдесят три года, лицо как из гранита, но гранит с трещиной — что-то в глазах, усталость, которая не от этого дня, а от раньше. От сына. Сын — но это позже, это в четвёртой главе, а пока — только трещи-

на, только намёк, только тень на камне, которую видно, если знать, куда смотреть. Заречный не смотрел. Заречный сидел прямо, руки на столе, и слушал.

Совещание: шестнадцать человек. Генералы, чиновники МЧС, представитель ФСБ, двое из Минздрава, один из РАН — молодой, испуганный, с портфелем, в котором лежали данные, которые он не понимал, но вез, как посыльный везёт гранату: осторожно и с надеждой, что не взорвётся. Заречный слушал молча, сложив руки на столе. Он задавал вопросы — короткие, точные, хирургические. Он не тратил слова. Он тратил внимание — щедро, как человек, у которого его осталось мало.

Доклады. Аварии на дорогах — двести сорок за первый час по Москве. Пострадавшие — одиннадцать, из них трое — тяжёлые. Причина: водители не адаптировались к новой инерции, тормозной путь изменился, центробежные силы на поворотах — другие. Один из пострадавших — женщина, которая вышла из машины после аварии, сделала шаг и упала — не от удара, от того, что шаг унёс её дальше, чем она ожидала, и она ударилась о поребрик. Перелом ключицы. Она лежала на асфальте и не понимала, почему шаг, который она делала тысячи раз в день, вдруг стал длинным.

Мосты: Большой Каменный, Крымский, Живописный —

инспекция сообщала: пролёты раскачивались с амплитудой, превышающей норму на сорок процентов. Мосты рассчитаны на собственный вес, на ветровую нагрузку, на вибрацию от транспорта. Расчёт — при 9,81. При 6,87 — мост легче, и его собственная частота колебаний сместилась, и резонанс возможен при другой скорости ветра, и ветер — есть, и мост — качается. Пока — не критично. Пока. Инспектор, который докладывал, говорил это слово «пока» так, будто оно было единственным, что отделяло порядок от катастрофы. И оно было.

Здания: высотки на Кутузовском — верхние этажи эвакуируются, лифты отключены, люди спускаются по лестницам. И спуск — кошмар, потому что каждый шаг длиннее, и люди спотыкаются, и падают, и не могут рассчитать приземление. Женщина на двадцать третьем этаже — пожилая, с палкой, с артритом — не могла спуститься. Её внук несёт её на руках, и она лёгкая, легче, чем должна быть, и он несёт её, и плачет — не от тяжести, а от лёгкости, потому что бабушка, которую он помнил тяжёлой, неподъёмной, — теперь пушинка, и это неправильно, и от этой неправильности — слёзы, густые, детские, тридцатилетнего мужчины.

Заречный задаёт один вопрос:

— Сколько у нас времени?

Ответ — от аналитика, молодого, с экраном, с графиком, который он не понимает, но показывает, потому что показывать — его работа:

— Если тренд продолжится по экспоненте — через двадцать-двадцать пять часов гравитация достигнет нуля.

Заречный:

— Что значит «ноль»?

Аналитику — двадцать восемь лет, он из тех аналитиков, которые делают модели и не думают о том, что модели значат для людей. Но сейчас он думает. И голос его, обычно ровный, становится тихим.

— Всё, что не прикреплено к земле, — поднимется. Атмосфера начнёт истекать в космос. Вода — океаны — поднимутся и рассеются.

Тишина в бункере. Кто-то говорит: «Это... невозможно». Голос — неуверенный, почти просительный, будто человек уговаривает реальность: пожалуйста, будь невозможным.

Заречный:

— Возможно или нет — это данные. Работаем с данными.

Он принимает решения. Первое — и главное — не о военных, не о границах, не о политике. О людях. Он приказывает:

Снизить скорость всех транспортных средств до тридцати километров в час. ГИБДД — в регионы, немедленно. Радио, телевидение, SMS-рассылка — всем. Закрыть мосты с пролётами более пятидесяти метров. Перекрыть движение. Эвакуировать верхние этажи — выше двадцатого — всех высотных зданий в городах-миллионниках. Остановить все стройки на высоте. Все краны — стоп. Все работы на высоте — прекратить. Метро — проверить вентиляцию и затворы: если гравитация упадёт дальше, атмосферное давление начнёт меняться, и метро — единственное, что под землёй, где гравитационные эффекты могут быть мягче.

Генерал — грузный, с красным лицом, из тех военных, которые привыкли, что мир устроен по уставу, — возражает:

— Виктор Николаевич, если мы объявим эвакуацию — будет паника.

Заречный смотрит на него. Молча. Две секунды, три, че-

тыре. И говорит:

— Если не объявим — будет хаос. Панику можно контролировать. Хаос — нет.

Генерал замолкает. Не потому что согласен — а потому что Заречный сказал это голосом, который не оставлял места для спора. Голос — как стена. Не грубый, не злой — ровный. И от ровности — тяжелее.

Заречный отдаёт все приказы за четыре минуты. Коротко, чётко, без повторов. Он говорит, и секретарь за соседним столом печатает, и звук клавиш — единственный звук в бункере, кроме голоса Заречного, — и от этого звука, от этой размеренности, от этого порядка, который Заречный строит в центре хаоса, — становится легче. Не физически — по-человечески. Потому что кто-то знает, что делать. Кто-то решает. Кто-то — за это отвечает.

Когда все выходят, Заречный остаётся один в кабинете. Тишина. Лампы — ровные, серые стены, стол, за которым сидели шестнадцать человек, и стулья, отодвинутые, и бумаги, и стаканы с водой, недопитые. Он достаёт телефон. Смотрит на фотографию — сына, молодого, в форме, улыбающегося. Фотография старая — экран зацепил палец, и лицо сына чуть смазано. Заречный убирает телефон. Ничего не го-

ворит. Но мы уже знаем: за гранитом — боль, и эта боль позже станет сюжетом, и сын — позже станет именем, а пока — только трещина, только тень, только фотография, которую смотрят и убирают.

4. Москва-Сити: кран

Лена была на стройплощадке — башня «Меркурий», со-роковой этаж, незаконченный бетонный остов. В 11:47 она была на тридцатом, проверяла сварные швы. Скачок — и она командовала спуск. Рабочие спускались по лесам, леса пружинили, она — последней. Но сцена, которая разворачивалась теперь, — не повтор, а продолжение: что произошло после того, как Лена встала на землю.

Через двадцать минут после скачка — башенный кран. Кран стоял на рельсах, высота — семьдесят метров, стрела — пятьдесят. Крановщик в кабине — наверху, на высоте. Кран не работал в момент скачка — был перерыв, стрела замерла в горизонтальном положении. Но теперь стрела качалась. Не от ветра — ветер слабый, три метра в секунду. Стрела качалась потому, что её собственный вес изменился, и балансировочный противовес, рассчитанный на 9,81, теперь перетягивал. Маятниковая система крана — это физика, и

физика сломалась. Амплитуда раскачивания — нарастала. Кран не упадёт сразу — он будет раскачиваться, и с каждым циклом амплитуда будет расти, потому что демпфирование, рассчитанное на определённую гравитацию, не работало.

Лена видела это. Она — инженер, и понимала механику крана лучше, чем кто-либо на площадке. Она считала в уме: противовес — тридцать тонн, стрела — двадцать. При 9,81 — равновесие. При 6,87 — противовес перетягивает на сорок процентов. Кран начнёт поворачиваться, стрела — уходить в сторону, и если амплитуда достигнет критической — кран опрокинется. Время — час, может, два. Может, меньше.

Но главная проблема — крановщик. Он наверху, в кабине, на высоте семьдесят метров. Спуск по лестнице внутри мачты крана — вертикальная, с ограничителями, рассчитанными на вес человека при 9,81. Теперь человек весит на треть меньше. Хватка рук слабее прижимает к перекладинам. Ноги слабее цепляются. Тело легче, и при спуске каждый шаг длиннее, и можно не успеть затормозить, и улететь — не вниз, в смысле не упасть, а не удержаться, потому что трение зависит от прижимающей силы, а прижимающая сила — на треть меньше. И руки скользят, и ноги скользят, и перила, которые всегда были опорой, — теперь меньше, чем опора, потому что трение ушло вместе с гравитацией.

Лена принимает командование. Не потому что есть должность — должности нет. Есть прораб, есть инженер безопасности, есть бригадир, все старше её по статусу. Но она говорит:

— Так, слушайте сюда.

И голос у неё такой, что слушают. Не крик — тон. Тот самый тон, который бывает у людей, которые знают, что делают, и знают, что времени на размышления нет, и от этого знания — спокойствие, не показное, не натянутое, а настоящее, как бетон, как сталь, как то, на что можно встать.

Она расставляет людей. Двое — внизу, под краном, расчищают зону: если кран упадёт — никого не должно быть в радиусе. Один — звонит в МЧС. Двое — наверх, к основанию стрелы, закрепить тросами противовес — попытаться компенсировать перетяг, добавив вес на сторону стрелы. Сама Лена — наверх, к кабине, помочь крановщику спуститься.

Прораб — мужик лет пятидесяти, с лицом, обветренным, как скала, и руками, привыкшими к арматуре, — смотрит на неё и хочет возразить. Хочет — но не возражает. Потому что видит: она знает. Она знает, что делать, а он — нет, и в этом

мире, где всё стало на треть легче, знание — единственный вес, который не изменился.

Лена поднимается. Семьдесят метров по лестнице внутри мачты. Лестница — вертикальная, с ограничителями, с площадками через каждые десять метров. Подъём — легче, чем обычно, потому что тело легче, и это странное ощущение: лестница, которая всегда была тяжёлой, стала почти нормальной, и от этого — тревожнее, потому что «почти нормально» в мире, где всё ненормально, — самое опасное состояние. «Почти нормально» — это когда ты расслабляешься, а расслабляться нельзя, потому что трение ушло, и хватка — ненадёжна, и каждый шаг — длиннее, и если ты расслабишься, то улетишь — не в яму, не в бездну, а просто мимо перекладины, мимо перил, мимо всего, что держало, и будешь падать — медленно, плавно, неестественно долго, как мяч, который баскетболисты забросили в потолок.

Она поднимается за одиннадцать минут. Обычно — за двадцать. Разница — ощутимая, пугающая. Тело, которое она знала, которое было тяжёлым, усталым, привычным, — стало чужим. Лёгким. Быстрым. Чужим.

Крановщик — мужчина лет пятидесяти, в кабине, бледный. Кабина качается — стрела раскачивается, и кабина на конце стрелы ходит вверх-вниз на два-три метра. Кранов-

щик вцепился в штурвал, не может двинуться. Лица — серое, как бетон. Руки — белые, с узлами вен. Он дышит — часто, мелко, как собака в жару.

Лена говорит:

— Тихо. Медленно. Отпустите штурвал. Повернитесь ко мне.

Крановщик:

— Я не могу, меня бросает.

— Меня тоже. Но я здесь.

Она протягивает руку. Крановщик хватает — хватка слабая, пальцы скользят, и Лена понимает: трение — ключ. Нужны перчатки с резиновыми накладками. Нужны ремни, нужны узлы — но не те, что обычно, а другие, с дополнительной фиксацией, потому что обычные системы спуска рассчитаны на вес, которого больше нет.

Она импровизирует. Ремень от инструмента — как дополнительный страховочный. Перчатки — рабочие, резиновые, для лучшего сцепления. Узел — «восьмёрка», но с дополнительным витком, чтобы трение было больше. Она делает

это быстро, привычно — руки помнили то, чему их учили на курсах промышленного альпинизма, которые она прошла три года назад, потому что на стройке высотного здания инженер должен уметь то же, что и рабочий. Она не предполагала, что ей это понадобится. Она предполагала, что будет стоять внизу, с планшетом, с расчётами. Но мир изменился, и теперь она — наверху, и от её узлов зависит жизнь.

Спуск — медленный, по одному метру, с остановками. Каждый шаг — проверка: держит? держит. Тело крановщика — лёгкое, и это и хорошо, и плохо: хорошо — потому что падение не будет тяжёлым; плохо — потому что хватка ненадёжна, и нужно компенсировать силой рук, а руки — устают. Крановщик — не альпинист, не спортсмен, он водитель крана, двадцать лет за штурвалом, и руки его привыкли к штурвалу, а не к перекладинам, и теперь его жизнь зависит от хватки, которая никогда не тренировалась на это.

Лена идёт впереди, закрепляет ремень на каждой площадке, ждёт, пока крановщик переберётся, потом снимает и идёт дальше. Вниз. Метр за метром. Семьдесят метров, десять площадок, и каждая — проверка, и каждая — пауза, и в паузах — тишина, и в тишине — звук крана, который качается над ними, огромный, металлический, как маятник, который не остановится.

На шестой площадке — на высоте сорока метров — крановщик оступается. Нога — мимо перекладины, и тело — вниз, и ремень — натягивается, и держит, и Лена хватает его за куртку и прижимает к лестнице, и он — тяжёлый, нет, лёгкий, лёгкий, но бьётся, как рыба, и лицо — мокрое, не от потока, от слёз, и он говорит: «Я не могу, я не могу, отпусти, я не могу», — и Лена говорит: «Можешь. Ты можешь. Дыши. Дыши со мной. Вдох — шаг. Выдох — шаг. Вдох — шаг». И он дышит, и она дышит, и они дышат вместе, и от этого общего дыхания — как от метронома, как от сердца, которое бьётся за двоих — он успокаивается, и перестаёт биться, и стоит, и держится, и говорит: «Дальше. Идём дальше».

Спуск занимает сорок минут. На земле — МЧС, врач, бригада. Крановщик — цел, руки трясутся. Врач ведёт его к машине, накидывает на плечи одеяло — фольгированное, как для марафонцев, и крановщик сидит в машине, завернутый в фольгу, и выглядит, как серебряная статуя, и лицо у него — серебряное, и глаза — стеклянные, и он молчит.

Лена стоит, смотрит на кран, который качается всё сильнее. Амплитуда — уже четыре метра. Через два часа его нужно будет обрушить контролируемо, потому что остановить раскачивание нельзя — физика не позволит. Но это — позже. Сейчас — главное: люди живы.

Лена проверяет телефон — семь пропущенных от Марка. Она перезванивает. Гудки — длинные, тягучие, как сирена.

— Лена! Соня... где Соня?

— В школе. Я не могу дозвониться до школы.

— Езжай за ней. Сейчас.

— Я на стройке, здесь...

— Брось стройку. Езжай за Соней.

Пауза. Лена смотрит на кран, на рабочих, на город, который не знает, что делать. Город, в котором все здания — на тридцать процентов легче расчётного, и все мосты качаются, и все люди — пушинки, и все — в опасности, и все — не знают. И Соня — в школе, в классе, с учительницей, которая кричит: «Всем сесть на пол!» — и Соня сидит на полу, обхватив колени, и смотрит, как осколки плафона кружатся в воздухе, медленно, как снежинки. Медленно, как снежинки.

Лена говорит:

— Я знаю.

И садится в машину.

5. Нить: Алиса

Короткая, плотная сцена — контраст после Москвы и бункера. Алиса одна в куполе. Тимур — внизу, в посёлке, за продуктами. Связь с посёлком пропала — мобильная вышка, возможно, пострадала от аномалии, или просто перегрузка сети, все звонят всем, и сеть — легла. Алиса не знала, что в мире произошло. Она знала только то, что знала всегда: небо, экран, журнал. И ещё — что Тимур задерживается, и кофе нет, и воды — на доньшке.

Она перечитывала журнал. Ту самую запись, трёхнедельной давности: «06:14. Аномальный импульс. RA 14h 32m, Dec -62° 15'.» Она думала: три недели назад этот сигнал был единственным. Один импульс. Потом — тишина. Потом — мир изменился. Но Алиса не знала, что мир изменился. Она знала только: Тимур задерживается, и связь не работает, и что-то — не так. Не в посёлке, не в куполе — в чём-то другом, неуловимом, как запах, который не можешь определить.

Она запускала телескоп, наводила на те же координаты. Экран — шум. Ровный, привычный. Но — не тот. Шум под-

нялся. Не на много — на полтора сигма. Фон стал громче, как будто тот, кто нажал одну ноту три недели назад, теперь держал педаль, и звук — тихий, но непрерывный, и он нарастал.

Алиса записала в журнал:

> 14:07. Тот же сектор. Фоновый уровень гравитационного шума повышен на ~ 1.5 сигма. Импульс не повторился, но фон не возвращается к норме. Тренд: рост. Корреляция с глобальной гравитационной аномалией — возможна. Не подтверждена.

И добавила вслух, глядя на плакат «I Want to Believe»:

— Ну здравствуй. Я знала, что ты не случайно.

Она пыталась дозвониться Тимуре — нет связи. Пыталась выйти в интернет — сайт РАН висел, Twitter перегружен, новостей нет, только хештеги. Она видела #GravityGlitch и первые ролики — люди, прыгающие с бордюров и улетающие на метр, краны, раскачивающиеся, мосты. И впервые понимала: произошло не на Алтае, не в её телескопе — везде. Везде. И сигнал, который она поймала три недели назад, — не предвестник, не случайность. Он был первым ударом. Тихим, далёким, никем не услышанным первым ударом, за которым

пришёл второй — тридцать процентов, — и, возможно, будет третий.

Алиса села в кресло. Кофе нет, воды нет, Тимура нет, связи нет. Есть экран, журнал и тишина, которая больше не тишина, а гул — тихий, нарастающий, из пустого сектора космоса, где ничего нет, кроме ноты, которая не замолкает.

Она посмотрела на плакат. «I Want to Believe». Фокс Малдер, вцепившийся в свою веру, как в поручень. Алиса подумала: а может, верить — не нужно. Может, нужно — знать. И знать — страшнее, чем верить, потому что верить можно во что угодно, а знать — только в то, что есть. А есть — нота. Из пустоты. Из ниоткуда. И она не замолкает.

Алиса закрыла журнал. Положила ладонь на обложку — тёплую, от солнца, которое било в купол через щель. Журнал — обычный, в кожаном переплёте, с золотым тиснением «Observations», которое стёрлось от пальцев, и от этого стёртого — родное, как имя, которое забывают, и от забвения — ближе. Она думала: я сидела здесь три года, и шум был фоном, и небо было небом, и звёзды были звёздами, и всё было — как есть. А теперь — не как есть. Теперь — как будет. И «как будет» — неизвестно, и от этого — страх, густой, холодный, альпийский, как ветер с ледника, который дует через перевал и несёт с собой запах снега и чего-то ещё, мине-

рального, древнего, как камень, из которого сделана гора.

— Тимур, — сказала она вслух. Имя прозвучало в пустом куполе и упало, как монета, — звонко, коротко. — Тимур, где ты.

Он не ответил. Никто не ответил. Телескоп шумел. Фон — нарастал. Нота — держалась. Алиса сидела в кресле, одна, на высоте две тысячи метров, на горе, в мире, который изменился, и ждала. Ждала — не спасения, не объяснения, не Тимура. Ждала — следующего удара. Потому что теперь знала: он будет.

6. Стык

Короткий финальный монтаж — параллельные движения, как в конце второй главы, когда мир показывался в разрезе. Но теперь — не синхронный момент, а параллельные векторы, направленные в одну точку, которая ещё не наступила.

Марк — в лаборатории, строил график. Три тысячных — пять — тридцать процентов. Кривая. Экспонента. И экстраполяция — ещё сутки, и гравитация — ноль. Он рисовал эту кривую на доске маркером, и маркер дрожал, и кривая по-

лучалась не идеально ровная, и это было правильно, потому что мир не идеален, и кривая не идеальна, и руки физика, который видит конец, — трясутся. Лев Борисович стоял рядом и смотрел на кривую, и молчал, и молчание его было тяжелее слов, потому что математик, который молчит перед кривой, — это математик, который проверил и не нашёл ошибки.

Заречный — в бункере, получал первые сводки с выполнения приказов. Скорость снижена — не везде, хаос на дорогах, водители не слушались, потому что не понимали. Мосты — закрывались, но пробки, и люди в пробках нервничали, и выходили из машин, и шаги были длиннее, и кто-то падал, и кто-то кричал, и пробка стала толпой, и толпа — неуправляема. Эвакуация — медленная, лифты отключены, люди на верхних этажах паниковали. Заречный думал: не хватает времени. Не хватает людей. Не хватает — понимания. Никто не понимал, и приказы работали плохо, когда непонятно, зачем. Зачем тридцать километров в час? Зачем мосты? Зачем эвакуация? И Заречный не мог объяснить — потому что объяснение было: «потому что гравитация упала на тридцать процентов и может упасть до нуля», а это объяснение — хуже молчания, потому что от него — паника, а паника — хуже хаоса.

Лена — в машине, ехала за Соней. По городу со скоростью тридцать — Заречный ещё не объявил, но Лена сама

— инженер, и она считала: инерция меньше, тормозной путь другой, нельзя быстро. Она ехала медленно, и люди вокруг — нет, не медленно, обычная скорость, и одна машина на повороте уходила в занос — не сильно, но Лена видела, и сердце — холод, как вода из колонки зимой. Она звонила в школу — занято. Звонила снова — занято. Набирала Сонин номер — недоступен. Набирала ещё раз — недоступен. Ехала. Москва-Сити — в зеркале, башни, стройка, кран, который качался, — в зеркале, удалялся, и Лена не оглядывалась, потому что если оглянется — вернётся, а вернуться нельзя, потому что Соня — в школе, и Соня — одна, и Соня — десять лет, и Соня — пушинка в мире, где все пушинки, и кто-то должен быть рядом.

Алиса — в куполе, одна. Сигнал — тише, но не исчез. Она сидела и смотрела на экран, и ждала. Плакат «I Want to Believe» — напротив, и впервые Алиса думала: а может, верить — не нужно. Может, нужно — знать. И знать — страшнее, чем верить, потому что верить можно во что угодно, а знать — только в то, что есть. А есть — нота. Из пустоты. Из ниоткуда. И она не замолкает.

Марк стоял у доски, перед кривой, и Дима — тихий, с линейкой в кармане — спрашивал:

— Марк Андреевич, а если это не остановится?

Марк смотрел на кривую. На цифру 6,87. На окно, где голуби всё ещё не могли сесть. Голуби кружились над сквером, усталые, сбитые с толку, и одна птица — серая, обыкновенная, ничем не примечательная — села на карниз противоположного дома, и карниз был узкий, и птица качнулась, и удержалась, и сидела, и смотрела на мир, который стал легче, и не понимала, и ждала, когда станет тяжело снова.

Марк сказал:

— Тогда мы научимся летать.

Это было — не шуткой. Не оптимизмом. Констатацией. Если гравитация уйдёт — придётся жить без неё. И Марк — физик, и он знал: жизнь без гравитации — возможна. Но — какой? И — сколько продержится?

Мир ещё не пал. Но мир уже понял, что может упасть. И это — хуже катастрофы. Это — ожидание. Ожидание, в котором каждый шаг длиннее, каждый вдох легче, и каждый миг — последний, когда ещё не случилось то, что случится.

Глава 4. Цена шага

Первым умер пожарный.

Нет — первым умер не пожарный. Первым стал калекой человек с крыши автобуса. А первым умер — пожарный. Но разница между первым и вторым была в нескольких часах и в том, что одно можно было пережить, а другое — нет.

Человек с крыши автобуса — это случилось в Петербурге, на конечной остановке у метро «Ладожская». Автобус — номер сто тридцать два, модель «ЛиАЗ», грязно-жёлтый, с треснутым стеклом у задней двери — стоял на остановке, двигатель работал, но дверцы уже открылись, и пассажиры выходили. Последним вышел мужчина — лет тридцати пяти, в синей куртке, с рюкзаком на одном плече. Он не вышел — он выпрыгнул, как выпрыгивают молодые мужчины с подножки, когда настроение хорошее, а до метро два шага. Но он не пошёл к метро. Он запрыгнул обратно — на крышу автобуса. Легко, одним движением, как запрыгивали в юности — толчок ногами, хватка руками, подтянуться. Раньше это требовало усилия: крыша «ЛиАЗа» — два с половиной метра, и не каждый подтянется. Сейчас — он взлетел, как пробка из шампанского, и через секунду стоял на крыше, расставив руки, и ветер бил ему в лицо, и он хохотал — громко,

по-мальчишески, потому что мир стал лёгким, и лёгкий мир хотелось пробовать на вкус.

Потом он прыгнул.

Не прыгнул — шагнул. Как шагают с бордюра: одно движение, нога вниз, асфальт встречает стопу. Только асфальт встретил стопу не через полметра, а через пять. Пять метров. Крыша автобуса — два с половиной, плюс прыжок — ещё два с половиной, и тело, которое весило раньше восемьдесят килограммов, а теперь — пятьдесят шесть, полетело вниз медленнее, чем ожидал, и дольше, чем ожидал, и человек в синей куртке успел понять, что не знает, как приземляться. Он не парашютист, не гимнаст, не каскадёр — он пассажир, который решил пошутить. Руки — вперёд, ноги — вместе, и удар — спиной. Асфальт, жёсткий, холодный, октябрьский. Удар прошёл через всё тело — от лопаток до копчика, и позвоночник хрустнул — не как ветка, а как палка, плотно, густо, и боль была такая, что человек не закричал, а замолчал, потому что крик требует дыхания, а дыхания не было, воздух выбило из лёгких, как из пакета.

Он лежал у заднего колеса автобуса. Водитель — который видел всё в зеркало, который стоял у открытой двери с сигаретой и не успел затянуться — бросил сигарету и подбежал. Мужчина в синей куртке лежал и смотрел в небо — серое,

петербургское, с одним белым облаком, вытянутым, как ца-
рапина, — и не мог пошевелить ногами. Не потому что не
хотел — потому что не мог. Ноги не слушались. Руки — слу-
шались. Он шевелил пальцами, хватал воздух, и воздух был
обычный, и небо было обычное, и автобус был обычный, и
только он — не обычный. Перелом позвоночника, компрес-
сионный, L1–L2. Он жив, но ноги — нет. Вокруг — крики,
кто-то набирает скорую, кто-то снимает на телефон, кто-то
говорит: «Не трогайте его, не трогайте!» — а водитель стоит
на коленях и держит его за руку, и рука сжимается, и лицо у
водителя такое, будто это он упал, а не пассажир.

Крыша автобуса была пустая. Небо было голубое.

Пожарный — это случилось в Новосибирске, через четы-
ре часа.

Пожар на пятом этаже жилого дома — не крупный, кухон-
ный, масло на плите, занавеска, обычная история. Но вызов
был, и расчёт выехал. Пожарный — Андрей Ситников, со-
рок два года, два метра роста, сто четыре килограмма живого
веса, из которых двадцать — мышцы, а остальное — кости,
привыкшие к тяжести. Андрей работал в пожарной охране
семнадцать лет, из них девять — на высотных работах. Он

поднимался на крыши, спускался в колодцы, лазил по обледелым карнизам, и тело знало каждый сантиметр высоты, каждый угол наклона, каждый коэффициент трения между ботинком и поверхностью. Тело было прибором, откалиброванным за семнадцать лет. Прибор сломался в один день.

Семью с верхнего этажа вывели через чердачный люк. Муж, жена, ребёнок — девочка, лет пяти, в пижаме с зайцами. Андрей нёс её на руках, по автолестнице, вниз, и девочка прижималась к его шее, и была тёплая, и пахла сном, и Андрей думал — не о пожаре, а о том, что девочка лёгкая, легче, чем должна быть, но это — потому что маленькая, и он списал. Он всё списывал в этот день, как все. Лестница пружинила под ногами — ветер. Рукав был легче обычного — намок. Собственный вес — меньше — адреналин.

Он остался последним. Сворачивал рукав на крыше, и в этот момент нога соскользнула с обледелого карниза. Раньше — он бы удержался. Зацепился бы за водосток, упёрся бы, сто четыре килограмма — это масса, и масса даёт инерцию, и инерция даёт Stability, и руки — как тиски, хватка, которая держит. Сейчас — семьдесят три килограмма. Рука схватила водосток, но тело — легче, а инерция — та же, и когда он начал падать, движение не остановилось, а продолжилось, и водосток — ржавый, тонкий — не выдержал, вырвался с куском кровли, и Андрей полетел.

Ветер — обычный, октябрьский, шесть метров в секунду, не ураган, не шторм, просто ветер — отнёс его в сторону. Не сильно, не далеко — на метр, на полтора. Но метр — это расстояние между лестницей и пустотой. Андрей пролетел мимо автолестницы, мимо пожарной машины, мимо товарища, который стоял внизу и протягивал руки, и руки не доставали — всего полметра не доставали. Удар о землю — не прямой, а под углом. Угол был неправильный. Шея хрустнула — тихо, не как в кино, а как сгибают сухую ветку, — и Андрей Ситников, сорок два года, два метра, семнадцать лет службы, умер по пути в больницу.

Начальник караула — Сергей Петрович, пятьдесят один, седой, с усами, которые красил с тридцати — стоял у машины на коленях и не мог встать. Не от ран — от того, что ветер, который он знал всю жизнь, вдруг стал другим. Ветер не изменился. Изменился человек — стал легче, и ветер, который раньше был фоном, стал силой.

К вечеру травмпункты переполнились. Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар — везде одно и то же. Переломы от падений с неожиданно большой высоты. Вывихи от неудачных приземлений. Ушибы, ссадины,

сотрясения. Люди прыгали с бордюров — и улетали на метр. Со ступенек — на два. Со скамеек — на три. Приземлялись — не туда, не так, не мягко. Скорая не успевала. Врачи работали в шоке — не от травм, от повторяемости. Один за другим, одинаковые истории: «прыгнул, улетел выше, упал, ударился». Диагнозы повторялись, как бланки.

Дети — меньше травм. Легче, гибче, кости мягче, падают — и вскакивают, и снова прыгают, и не понимают, почему взрослые кричат, почему матери хватают за руки, почему учителя запрещают качели. Дети — радуются. Для них мир стал парком аттракционов, где каждый бордюр — трамплин. Каждый шаг — полёт. Каждый прыжок — выше, чем вчера, и это — весело. Это — игра. Игра, в которой нет правил, потому что правила — для старого мира, а старый мир кончился.

Взрослые — в ужасе. Не от гравитации — от непредсказуемости. Тело, которое всю жизнь знало, как шагнуть, как спуститься, как прыгнуть, — больше не знает. Каждый шаг — расчёт заново. Каждый прыжок — риск. Внутренний голос, который говорил «допрыгнешь», молчит, потому что теперь допрыгнешь не туда. Мышечная память — пятнадцать, тридцать, пятьдесят лет откалиброванная на 9,81 — бесполезна. Мир стал чужим в самом привычном — в шаге. В том, что делал тысячу раз в день, не задумываясь. Теперь — за-

думываешься. Теперь — боишься. И страх не в голове — в ногах. В том, как нога ставится на ступеньку, и ждёт удара, и удара нет, и нога опускается дальше, и тело качается, и рука хватается за перила, и перила — единственное, что осталось от старого мира. Перила и привычка. Привычка и страх.

Старый хирург — Евгений Иосифович, шестьдесят четыре года, тридцать лет в травматологии — стоял в коридоре больницы и курил, хотя бросил восемь лет назад. Сигарета — чужая, медсестрина, тонкая, вонючая. Он затягивался и говорил — не кому-то, а в стену, в воздух, в коридор, по которому несли каталку с очередным пациентом:

— Тридцать лет работаю. Такого не было. Все падают с высоты, на которой не должны быть.

И медсестра — которая несла каталку, которая не слышала его, потому что слышала только крики пациента — прошла мимо, и хирург остался в коридоре с чужой сигаретой и с пониманием, которое было хуже любого диагноза: он не знал, что делать. Не с переломами — переломы он знал. Он не знал, что делать с миром, в котором переломы стали нормой.

Школа в Подмоскowie стояла на улице Тургенева, между гаражами и берёзовой рощей, которая осенью становилась жёлтой, как мёд. Трёхэтажная, кирпичная, с потрескавшимся фасадом, на котором висел баннер «Добро пожаловать» — слово «пожаловать» отклеилось с одной стороны и загибалось, как страница. Спортплощадка — асфальт, турник, качели, баскетбольный щит без кольца. Клумбы, которые никто не поливал с сентября. Ограда — сетка-рабица, местами порванная, местами провисшая, и в дырки пролезали собачники из соседнего двора. Обычная школа. Их тысячи по Подмоскowie, и все одинаковые, и все — чужие для тех, кто в них учится, и свои для тех, кто из них ушёл.

Соня пришла утром, в восемь, как всегда. Рюкзак — тяжёлый, с учебниками, тетрадями и астрономической энциклопедией, которую носила с собой, как талисман. Энциклопедия была в картонной обложке, с картинками галактик и таблицами спутников планет, и Марк подарил её на восьмилетие, и Соня не поняла тогда, что это от отца, а не от Деда Мороза, но позже поняла, и стала носить с собой. Не читать — носить. Как носят иконки, как носят амулеты. Просто чтобы было. Просто чтобы отец — где-то, в другом месте, в другой квартире — был рядом, в виде картинок и таблиц, в виде глянцевых страниц и чёрных цифр.

В школе Соня — тихая. Не лидер и не аутсайдер. Из тех детей, которые стоят у края группы и смотрят. Наблюдательная, с привычкой молчать, когда другие говорят, и говорить, когда другие молчат. Учительница литературы называла её «Соня-в-углу» — не зло, а ласково, потому что Соня действительно любила угол, последний ряд, у окна, где можно посмотреть на улицу и не быть увиденной. Лучшая подруга — Даша, рыжая, с веснушками, которых она ненавидела, и голосом, который она любила, потому что голос был громким, и в нём было всё, чего Соне не хватало: уверенность, лёгкость, умение не думать, а делать. Соня единственная говорила, что веснушки красивые. Даша не верила, но слушала, и это было достаточно.

Перемена. Вторая, после математики. Двор школы — асфальт, турник, качели, ограда. Октябрьское солнце — низкое, белое, без тепла, и тени от берёз — длинные, горизонтальные, как царапины на асфальте. Дети из пятых и шестых классов — на дворе, в куртках и шапках, в беге и крике. Вчера, когда всё случилось, их распустили по домам, но сегодня — снова школа, снова уроки, и перемена, и неугомонность, и игра.

Игра называлась «Кто выше прыгнет». Правила были простые: разбегаешься, отталкиваешься от бордюра, кто взлетит

выше — тот победил. Дети прыгали и взлетали — на метр, на полтора, на два. Кто-то на качелях — качели взмывали до перекладины, цепи скрипели, и на спуске не тормозили, и это страшно и весело, и дети визжат, и не понимают, что опасно, потому что детство не знает слова «риск». Оно знает слово «выше».

Соня стояла у ограды. Смотрела. Не прыгала — она осторожная, как Марк, унаследовала от отца не физику, а привычку наблюдать, прежде чем действовать. Даша подбуживала: «Сонь, давай! Что ты стоишь? Все прыгают!» Соня колебалась. Ей хотелось — мир стал лёгким, и лёгкость манила, и каждый, кто прыгал, возвращался — не целым всегда, но живым, и улыбка у победителя была такой, будто он побывал выше, чем позволяло тело, и вернулся, и мог рассказать. Но Соня — не рассказчик. Соня — наблюдатель.

— Давай! — Даша толкнула её в плечо. — Что ты, как старушка?

Соня разбежалась. Три шага — коротких, быстрых, по асфальту, и отталкивание от бордюра, и — взлёт.

На три метра. Выше всех. Выше турника, выше ограды, на уровне веток берёзы, которая стояла у спортплощадки. Тело — лёгкое, сорок три килограмма, которые стали тридцать, и

воздух держал, и время — на пике, в секунде, полторы, — замедлилось. Соня видела двор сверху: асфальт, дети, качели, крыльцо школы, и всё — маленькое, как на макете, как на карте в энциклопедии, где страны — цветные пятна, а города — точки. И в этой секунде, в полёте, Соня подумала: это похоже на космос. Не на невесомость, не как в фильмах про космонавтов, где они плавают в корабле, как рыбы в аквариуме. А на то, как она себе представляла космос, когда читала энциклопедию, когда смотрела на картинки туманностей и чёрных дыр: пустота, высота, и ты — посередине, и нет ни верха, ни низа, и нет тяжести, и можно лететь. И Соня летела — секунду, полторы, — и в этой секунде не было страха, и не было боли, и не было синяков. Было — небо.

Потом — падение. Соня падала — не на ноги, а на спину. Асфальт жёсткий, холодный, удар бьёт по лопаткам, по затылку, и воздух выходит из лёгких — «уфф», как выдох, только грубее, вырванный, не voluntary. Боль — тупая, ровная, по всей спине, как будто кто-то положил ей на спину плиту и нажал. Соня лежала, смотрела в небо — серое, низкое, с одним облаком, белым, как вата, — и не могла пошевелиться. Не потому что сломано — потому что страшно. Тело не слушается в первую секунду, и в эту секунду Соня подумала: я больше не могу двигаться. Я сломалась. Я буду как те люди в инвалидных колясках, которых мы видели на улице, и мама будет кормить меня, и я не смогу стать космо-

навом, потому что космонавты ходят, а я лежу.

Потом — подаётся. Шевелит пальцами — можно. Ногами — можно. Переворачивается, садится. Болит, но живая. Синяки — на спине, на локте, на бедре. Фиолетовые, глубокие, болезненные, но — только синяки. Кости целы. Целы — потому что тридцать килограммов падают мягче, чем сорок три, потому что мир стал лёгким, и лёгкость — не только полёт, но и мягкость падения. Если бы гравитация была прежней, три метра на спину — и позвоночник. Но мир — новый, и падение — тише, и Соня — цела. Почти.

Даша подбежала — лицо красное, глаза круглые, рот открыт:

— Сонь, ты как?! Ты три метра прыгнула! Ты победила!

Соня не ответила. Руки трясутся, и не от боли — от адреналина, и от того, что три метра — это была не игра. Это была высота, с которой можно не вернуться. Она посмотрела на свои ладони — грязные, содранная кожа на правой, с впавшимся гравием — и на Дашу, которая стояла и улыбалась, потому что Даша не видела секунды, когда Соня лежала и не могла пошевелиться. Даша видела полёт, три метра, победу. Соня видела асфальт.

Учительница подбежала — Ольга Викторовна, молодая, в очках, с красным шарфом, который развязался и болтался на спаде, как флаг. Она опустилась на колени, схватила Соню за плечи, посмотрела в глаза — зрачки нормальные, не расширены, не сужены, — потом потрогала спину, и Соня зашипела.

— Болит?

— Да.

— Где?

— Везде.

— Вставать можешь?

— Могу. Только медленно.

Соня встала — медленно, держась за учительницу, и спина ныла, и поясница ныла, и затылок, и левый локоть. Медсестра — Зинаида Павловна, женщина с бровями как щётки и руками, которые трогали сто тысяч детей и знали на ощупь перелом от ушиба — осмотрела в медкабинете. Синяки, ушиб спины, больше ничего. Приложила лёд — пакет с замороженным горошком, потому что льда не было, а го-

рошек был, и он лежал в морозилке с прошлой зимы, и никто не помнил зачем. Пакет — холодный, жёсткий, в горошинах, и Соня сидела на кушетке с пакетом за спиной, и горошины впивались в лопатки, и это было смешно, если бы не было больно.

— В больницу, — сказала медсестра. — На всякий случай. Рентген.

— Мне маме позвонить, — сказала Соня.

— Звони.

Соня достала телефон из кармана. Экран треснул — не сильно, одна линия, от угла до середины, как царапина. Телефон работал. Соня набрала маму. Руки тряслись, и палец промахивался по кнопкам, и она нажимала дважды, и стирала, и снова набирала, и наконец — гудок.

— Мам.

— Соня, я на объекте. Что случилось?

— Я упала.

— Как упала? Где? Что случилось?

— В школе. На перемене. Прыгнула. Улетела высоко. Упала на спину.

Пауза. Соня слышала, как мама дышит — коротко, часто, как дышат, когда боятся, но не хотят, чтобы слышали. Потом — голос, ровный, слишком ровный, голос, который держится на усилии:

— Болит?

— Болит. Но я целая. Синяки.

— Ты одна? С тобой кто-нибудь есть?

— Медсестра. Она говорит — в больницу. На рентген.

— Еду. Сиди, не двигайся. Ничего не делай. Сейчас приеду.

Лена стояла у подножия здания, которое строила. Тридцать этажей — бетон, стекло, алюминий, и всё это держалось на расчётах, которые больше не были верны. Она стояла и смотрела вверх — на верхние этажи, которые качались на ветру, и качание было не тем, что было вчера, — больше, медленнее, с амплитудой, которая в расчётах не предусмат-

ривалась. Здание было чужое в новом мире. Неправильное. Опасное. И Лена — инженер, она знала: тридцать процентов — это не погрешность. Это — конец расчётов. Всё, что она считала три года — нагрузки, ветровые коэффициенты, коэффициенты запаса, — всё сдвинулось на треть, и здание, которое стояло, держалось не на расчётах, а на инерции бетона, на привычке веса, на том, что материал тяжелее воздуха, и пока — стоит. Пока.

Телефон в кармане куртки. Звонок. Она достала — увидела «Соня» на экране, и всё остальное исчезло. Здание, кран, бетон, аварийная группа. Только голос — тихий, дрожащий, не плачущий, но на грани.

— Еду. Сиди, не двигайся. Сейчас приеду.

Лена бросила всё. Повернулась к прорабу — Михаилу Степановичу, крупному, в каске, с бородой, которая была рыжей в молодости и серой теперь — и сказала:

— У меня дочь. Я уезжаю.

Прораб открыл рот — хотел возразить, хотел сказать про график, про аварийную группу, про совещание в пятнадцать, — но увидел лицо Лены и закрыл. Лицо было такое, каким он его не видел за три года совместной работы: не сосредото-

ченное, не решительное, не командное — голое. Без маски. Лицо, на котором написано одно слово, и слово — «сейчас».

— Езжай, — сказал он. — Я тут.

Лена спустилась с площадки. Села в машину — старую «Ладу», которая стояла у забора стройки, серую, с мятым крылом и дворником, который не работал с августа. Руки трясутся на руле. Она сжала руль сильнее — до белых костяшек, до боли в запястьях, — и дрожь унялась, но не исчезла, а ушла внутрь, в живот, в то место, где живёт страх, который нельзя показать, потому что если показать — он станет реальным. Она давила на газ, и город летел мимо — серый, осенний, с машинами, которые ехали слишком быстро и тормозили слишком резко, и Лена знала почему, но не думала об этом. Она думала о Соне. О синяках. О трёх метрах. О том, что дочь прыгнула и улетела, как взрослая, и упала, как ребёнок, и это — из-за того, что мир изменился, и Лена не может изменить мир, но может доехать. Может доехать — и доедет.

3

В институте Марк не знал о Соне. Не знал о пожарном. Не

знал о человеке с крыши автобуса. Он знал цифры — 6,87, тридцать процентов, — и цифры были огромными, как горизонт, и пустыми, как горизонт, потому что цифры без объяснения — это не знание, а факт, а факты без причины — это не наука, а хаос.

Грантовый отчёт лежал на краю стола — сдвинутый, забытый, ненужный. Ноутбук закрыт. На доске, где утром были грантовые формулы, — схема: стрелки, вопросительные знаки, зачёркнутые варианты. Марк рисовал их весь день, и каждый вариант выглядел правдоподобно ровно до того момента, когда он начинал его проверять. После проверки — вычёркивал. Четыре варианта. Четыре зачёркивания. И ничего — вместо них.

К трём часам — стук. Настоящий, вежливый, три удара. Марк поднял голову.

Юрий Волков — теоретик, пятьдесят два года, из тех физиков, которые выглядят как библиотекари: очки в тонкой оправе, твидовый пиджак, карман с авторучками — три штуки, синяя, чёрная, красная, для разных пометок. Синяя — для формул, чёрная — для текста, красная — для исправлений. Волков не аспирант, не коллега-конкурент — единственный человек в институте, с которым Марк разговаривал не о грантах и не о начальстве, а о физике. Они были

разные: Марк — интуитивист, хватал идею за хвост и тянул, Волков — систематик, строил конструкцию кирпич за кирпичом. Вместе они работали как две руки: одна держала, другая лепила.

Волков вошёл без приглашения — но постучал, потому что он всегда стучал, и в этом была его суть: вежливость, доведённая до принципа. Он сел на стул у стены, положил портфель на колени — старый, кожаный, с трещиной посередине, — и сказал:

— Ну, показывай.

Марк показал. Данные — все четыре гравиметра. Расчёты: $\backslash(g\backslash)$ упала с 9,81 до 6,87. Тридцать процентов. Ровно. Волков слушал молча, снял очки, протёр — жест, который у него означал: я думаю. Надел. Посмотрел на доску. Посмотрел на Марка. Сказал:

— Тридцать процентов. За секунду. Без переходного процесса.

— Без переходного процесса, — подтвердил Марк. — Скачок. Ступенька. Не пик — плато. До сих пор держится. Шесть часов — 6,87.

— Хорошо. Давай по порядку.

Волков встал, подошёл к доске. Взял маркер — синий, из своего кармана, не из Марковых. Начал писать.

****Первый заход: масса Земли.****

— Гравитация на поверхности: $(g = GM/R^2)$, — Волков вывел формулу, ровным, каллиграфическим почерком, и каждый символ — как в учебнике. — Если (g) упала на тридцать процентов, и радиус (R) не изменился — а он не изменился, планета не сжалась и не расширилась за секунду, — значит, (M) упала на треть. Масса Земли. Минус два умножить на десять в двадцать четвёртой степени килограммов. За секунду.

Он повернулся к Марку.

— Это возможно?

Марк качнул головой.

— Нет. Чтобы «испарить» треть массы Земли, нужно $(1,8 \times 10^{41})$ джоулей. Это $(E = mc^2)$, и это — энергия, сравнимая со вспышкой сверхновой. Не такой, какая разнесла бы планету — такой, какая разнесла бы всё. Ат-

мосферу, океаны, кору, нас. А ничего не взорвалось. Тихо стало. Небо голубое. Асфальт тёплый. Просто — тише. На тридцать процентов.

Волков кивнул. Зачеркнул $\Lambda(M)$. Одной линией, аккуратной, как бухгалтер.

— Не масса. Дальше.

****Второй заход: гравитационная постоянная.****

— $\Lambda(G)$, — сказал Марк. — $\Lambda(G = 6\{, \}674 \times 10^{-11})$. Если $\Lambda(G)$ упала на треть — всё сходится. $\Lambda(g)$ пропорциональна $\Lambda(G)$, и если $\Lambda(G)$ стала $4\{, \}67 \times 10^{-11}$, то $\Lambda(g)$ станет 6,87. Математика — чистая.

Волков снял очки. Протёр. Надел. Жест — «я думаю».

— Марк, $\Lambda(G)$ не меняется. Это не гипотеза. Это — определение. $\Lambda(G)$ — это то, что не меняется. Триста лет наблюдений, от Кавендиша до LIGO, и $\Lambda(G)$ — одна и та же, с точностью до 10^{-5} . Она не меняется. Не может меняться. Если $\Lambda(G)$ меняется, то всё, что мы знаем о Вселенной, — неверно. Орбиты, приливы, эволюция звёзд, нуклеосинтез, расширение Вселенной — всё построено на $\Lambda(G)$, и если $\Lambda(G)$ другая, то всё другое.

— Но приборы показывают 6,87.

— Приборы показывают $\backslash(g\backslash)$. А $\backslash(g\backslash)$ — это $\backslash(GM/R^2\backslash)$. Мы не измеряем $\backslash(G\backslash)$ напрямую. Мы измеряем $\backslash(g\backslash)$ и вычисляем. Может, $\backslash(G\backslash)$ та же, а что-то другое.

— Что?

Пауза. Тишина в кабинете — густая, как раствор, в котором вот-вот выпадет осадок. За окном — двор, пустой, с качелями, которые качались сами, и это было жутко, но Марк привык к жуткому за день, и качели были фоном, как шум, как свет, как мир, который стал на треть легче и на сто процентов страннее.

****Третий заход: пятая сила.****

Марк взял маркер. Написал на доске, крупно, с вопросительным знаком:

«Пятая сила?»

— Гипотеза, — сказал он. — Дополнительное фундаментальное взаимодействие. Помимо четырёх известных. Если есть сила, которая раньше была равна нулю — или почти ну-

лю — а вдруг включилась, и направлена против гравитации, отталкивание вместо притяжения, — то суммарный эффект выглядит как ослабление гравитации. Не потому что $\backslash(G\backslash)$ изменилась, а потому что к притяжению добавилось отталкивание. Разница — тридцать процентов.

Волков скептически сощурился — не агрессивно, а по привычке, как щурятся люди, которые тридцать лет проверяют чужие гипотезы и привыкли к тому, что большинство — неверные.

— Пятая сила должна иметь источник. Носитель. Радиус действия. Если она планетарная — радиус не меньше радиуса Земли. Но тогда она должна влиять и на Луну, и на спутники. Данные по Луне есть?

— Пока нет. Обсерватории молчат.

— GPS?

— Врёт. Навигация сбоит. Орбиты спутников изменились, расчётные траектории не совпадают с реальными. Это — косвенное: что-то влияет на гравитационное поле в целом, а не только на поверхности. Но источник? Что порождает пятую силу? Откуда?

— Не знаю, — сказал Марк.

— Я тоже, — сказал Волков.

****Четвёртый заход: тёмная материя.****

Волков взял маркер — красный, для исправлений, — и написал:

«Тёмная материя?»

— Она составляет восемьдесят пять процентов материи во Вселенной. Мы не знаем, что она такое, но знаем, что она гравитирует. Если плотность тёмной материи в окрестности Земли изменилась — если Земля прошла сквозь облако с особыми свойствами, — это могло бы изменить локальное гравитационное поле. Но — опять: за секунду? Скачок? Облако тёмной материи, которое проходит сквозь Землю и меняет $\backslash(g\backslash)$ на треть, — это требует плотности на много порядков выше ожидаемой. И эффект должен быть плавным, не мгновенным. А скачок был мгновенным. Щелчок. За секунду.

Марк посмотрел на доску. Четыре зачёркнутых варианта: масса — нет, $\backslash(G\backslash)$ — нет, пятая сила — может быть, но непонятно, тёмная материя — может быть, но не сходится.

Два «может быть», которые не объясняют главное: мгновённость. Скачок. Ступенька. Мир был один — и стал другой, и между ними — не процесс, не переход, а шов. Тонкий, как бритва, как граница между кадрами.

Волков сел. Положил маркер на стол. Посмотрел на Марка — поверх очков, поверх твидового пиджака, поверх тридцати лет общей работы — и сказал то, что оба знали, но никто не произносил:

— Мы не знаем. Мы просто не знаем.

И тишина — не пустая, а густая, тяжёлая, как воздух перед грозой. Тишина, в которой два физика сидели и смотрели на доску, и на доске — четыре зачёркнутых варианта, и ни одного ответа, и вопрос — единственный, незачёркнутый, без ответа: что изменилось? Что? Они не знали. И это — для физика — было хуже, чем любой плохой ответ. Плохой ответ можно проверить и опровергнуть. Отсутствие ответа — нельзя. Отсутствие ответа — это тишина, и в тишине — страх.

Марк смотрел на телефон.

Не на доску, не на гравиметр, не на город за окном — на телефон. Телефон лежал на столе, рядом с чашкой остывшего кофе — третьего за день, — и на экране был контакт. «Лена». Последний звонок — три месяца назад, сорок семь секунд, «Она в школе, позвони вечером». Сорок семь секунд. Три месяца. Тридцать процентов гравитации исчезли за секунду, а три месяца молчания — сколько это? В единицах потери? Марк не знал. Не знал, потому что единиц потери для человеческих отношений не существует, и это — единственное, чего физика не измеряет.

Он не звонил три месяца. Не потому что не хотел — потому что каждый звонок был как шаг на минное поле: можно наступить, и рванёт. Рванёт — словом, паузой, молчанием, «нормально» Сони. Три месяца тишины, и тишина стала привычной, как пустая комната, как холодная сторона кровати, как дверь в детскую, которую он не открывал с весны. Привычка — странная вещь: она делает отсутствие терпимым, а потом — нормальным, а потом — необходимым, и в конце ты не помнишь, зачем нужна была дверь, и что за ней, и зачем открывать.

Но сегодня мир изменился. И в изменившемся мире трёхмесячная тишина вдруг показалась не защитой, а ошибкой.

Не стеной, а рвом, который он сам вырыл и сам же не мог перешагнуть. Марк подумал: если каждый шаг теперь — риск, и каждый прыжок — высота, с которой можно не вернуться, — то нужно услышать голос. Хотя бы один. Хотя бы сейчас. Не из-за физики. Не из-за $\backslash(G\backslash)$, не из-за пятой силы, не из-за тёмной материи. Из-за Сони. Потому что где-то — в Подмосковье, в школе, на асфальте — дочь, которую он не видел три месяца, и мир, в котором дочь прыгает и улетает на три метра, — это мир, в котором нельзя молчать. В этом мире нужно звонить.

Марк взял телефон. Набрал. Гудок. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Каждый гудок — как шаг по пустой комнате, где раньше была жизнь. Шесть. Семь. Восемь. Никто не берёт. Телефон трещит в тишине кабинета, и Марк слушает, и каждый гудок — длиннее предыдущего, и тишина между гудками — гуще, и в этой тишине — всё, что он не сказал за три месяца: «как Соня», «я скучаю», «я был неправ», «прости», «я приеду», и ни одного из этих слов — нельзя сказать по телефону, потому что слова — не голос, и голос — не присутствие, и присутствие — не близость, и близость — это когда ты рядом, а Марк не рядом. Марк — за столом, в кабинете, на третьем этаже института имени Столетова, и между ним и дочерью — город, и новый мир, и гудки, которые никто не берёт.

Девять. Десять. Замолчало. На экране: «Вызов не отвечен».

Марк знал — не звуком, а чем-то другим, тем, что не передаётся по телефону, — знал: Лена за рулём. Едет. Давит на газ, и город летит мимо, и где-то впереди — школа, и в школе — Соня, с синяками на спине, с треснувшим экраном телефона. И Лена не берёт трубку, потому что руки — на руле, а голова — о дочери. И это правильно. Это — единственное правильное в новом мире: мать едет к ребёнку. Всё остальное — потом. Гравитация, $\backslash(G\backslash)$, пятая сила, тёмная материя, тридцать процентов, 6,87 — потом. Сначала — доехать.

Марк положил телефон на стол. Рядом с чашкой, рядом с ноутбуком, рядом с миром, который изменился на треть. И подумал: я не дозвонился. Опять не дозвонился. Три месяца молчания — и один звонок, и один не отвеченный гудок, и между ними — расстояние, которое не измерить в метрах и не выразить в формулах. Расстояние, которое он сам создал, когда ушёл в работу, как в омут, и Лена ушла, потому что не могла дышать рядом с человеком, который не выныривает.

Волков, который сидел молча всё это время — не потому что не замечал, а потому что замечал и не вмешивался, — видел, как Марк кладёт телефон. Видел, как Марк смотрит на экран, на «Вызов не отвечен», как лицо его — и без того

бледное, и без того серое — становится ещё тише, ещё пустее, как дом, из которого вынесли мебель. Волков спросил — тихо, без вопросов, без бестактности:

— У тебя кто-то есть?

— Дочь, — сказал Марк.

— Понял.

И больше — ничего. Волков надел очки. Встал. Подошёл к доске. Взял маркер — синий, свой, из кармана твидового пиджака. Написал рядом с зачёркнутыми вариантами, пятым, не зачёркнутым, с вопросительным знаком:

«Неизвестно.»

И под этим — одно слово, мелким почерком, как приписка, как обещание:

«Пока.»

Поставил маркер на полку. Повернулся к Марку. Сказал:

— Я буду у себя. Если что-то придёт — звони. В любое время.

И вышел. Три удара в дверь — на этот раз снаружи, тихие, вежливые, как Wave и весь Юрий Волков.

Марк остался один. Кабинет — маленький, окно во двор, на стене — доска с пятью вариантами, четыре зачёркнуты, пятый — с вопросительным знаком, и под ним — «пока». Качели во дворе качались сами. Ветер — обычный, октябрьский — гнал по асфальту жёлтые листья, и листья летели — дальше, выше, медленнее, чем должны, и падали — мягче, чем раньше, и мир, в котором листья падали иначе, а люди падали с крыш, а дочери улетали на три метра, а отцы не дозванивались, — этот мир был новым, и в нём не было ответов. Пока.

Марк посмотрел на телефон. «Вызов не отвечен». Набрал ещё раз. Гудок. Один. Два. Три. Четыре.

Лена не взяла. Она была уже близко — Подмосковье, улица Тургенева, школа, серое здание с потрескавшимся фасадом и баннером «Добро пожаловать», где слово «позаловать» отклеилось и загибалось, как страница. Она припарковала «Ладу» у ограды, вышла, и побежала — не шла, не шла, а бежала, и ноги несли её дальше, чем обычно, и каждый шаг был длиннее, и это было странно, и это было страшно, но Лена не думала о шагах. Она думала о Соне. О синяках. О

рентгене. О том, что скажет врач. О том, что мир изменился, и дочь — изменилась вместе с ним, и мать — не может изменить мир, но может быть рядом. Может — быть рядом.

Лена вошла в школу. Бежала по коридору — мимо стендов с рисунками, мимо кабинета физики, мимо туалета, где две девочки красили губы и не знали, что мир изменился, или знали, но губы — важнее. Медкабинет — дверь приоткрыта, белый свет, запах перекиси.

Соня сидела на кушетке. Пакет с горошком — за спиной, и горошины впивались в лопатки, и она не двигалась, и лицо — бледное, тихое, и глаза — большие, карие, как у Марка, и в этих глазах — не боль, а что-то другое. Что-то, чему Соня не знала названия, но что Лена узнала сразу, потому что видела это у Марка, и у себя, и у всех, кто смотрел в небо и не понимал: зачем мир стал другим. И зачем — другим.

— Мам, — сказала Соня.

Лена села рядом. Обняла. Прижала к себе — и Соня была лёгкая, легче, чем должна быть, и это было странно, и это было страшно, и Лена прижала сильнее, будто хотела вернуть ей вес, будто объятие могло вернуть гравитацию, и мир, и тридцать процентов, и всё, что исчезло за секунду.

— Поехали, — сказала Лена. — В больницу.

— Мам, я больше не буду прыгать.

— Не будешь, — сказала Лена. — Не будешь.

И они вышли. Коридор, крыльцо, двор. Машина. «Лада», серая, с мятым крылом. Соня села на переднее сиденье — без детского, без ремня, потому что Лена забыла про ремень, и Соня забыла, и обе забыли, потому что в новом мире ремень — мелочь, а мелочи — потом. Сначала — доехать. Сначала — больница. Сначала — рентген. Сначала — убедиться, что дочь цела. А потом — мир. А потом — всё остальное.

Лена завела машину. Выехала со двора. Улица Тургенева, поворот, светофор. Телефон в кармане — два пропущенных. «Марк». Она увидела имя на экране, когда остановилась на красный, и палец — на экране, и палец — не нажал. Не потому что не хотела. Потому что — не сейчас. Сначала — Соня. Потом — Марк. Потом — всё.

Зелёный. Лена нажала на газ. Подмосковье летело мимо — серое, осеннее, с деревьями, которые качались на ветру сильнее, чем должны, и листьями, которые падали медленнее, чем должны, и мир, который был новым, и в котором — пока — не было ответов. Но был один ответ, который Лена

знала точно: она рядом. Она едет. Она — с Соней. И это — тридцать процентов, которые невозможно отнять.

Глава 5. Небоскрёбы качаются

1

Лена не спала вторые сутки.

Не потому, что не могла — сон был роскошью, которую здание не позволяло. Она лежала бы и слышала: башня дышит. Бетонный скелет потрескивает, сталь натягивается, тросы поют — низким, тягучим, почти неслышным гулом, как провода под ветром. И Лена вставала, и шла к окну бытовки, и смотрела на «Федерацию» — тридцать семь этажей видимых, остальные терялись в темноте, — и считала амплитуду. Сорок сантиметров. Сорок пять. Сорок два. Ветер четыре метра в секунду. Обычный октябрьский ветер. А башня качалась так, будто на улице шторм.

Бытовка — вагончик на колёсах, четыре на три метра, с обогревателем, который пах горячей пылью, и столом, заваленным чертежами, распечатками, пустыми стаканами. Три стакана из-под кофе — Лена не помнила, когда пила. Один — с остывшим, начатый часа два назад, она грела в ладонях, не для тепла, а для привычки. Пальцы обхватывали стакан,

и тепло проникало в кожу, и на секунду — на полсекунды — становилось легче. Не лучше — легче. Слово, которое в этом мире значило другое, чем три дня назад.

Три дня. Семьдесят два часа. Сто сорок четыре — если без сна. Лена не считала. Считать — значит признать, что счёт важен, а важен был только бетон. Бетон, сталь, тросы и «пока». Пока стоит. Пока качается, но стоит. Пока не упала. «Пока» — слово, которое Лена слышала в голове каждую минуту, как тиканье часов, которые не остановились, но должны.

Она сидела за столом, перед ней — раскрытый ноутбук с расчётным комплексом, чертежи «Федерации», разложенные веером, и блокнот, исписанный её почерком — мелким, плотным, с наклоном влево, как будто буквы торопились упасть со строки. На странице — цифры. Амплитуда качания при ветре 4 м/с — 42 см. При 6 — 63. При 8 — 84. При 10 — 105. При 12 — 126. Расчётный предел конструкции — 130. Разница между «качается» и «падает» — четыре сантиметра амплитуды, три метра в секунду ветра, неизвестно сколько времени.

Лена знала цифры, которые другие инженеры ещё не произнесли вслух. Коэффициент запаса в высотном строительстве — 10–15%. Не 30. Тридцать — это гравитация, а не за-

пас здания. Запас здания — тоньше. Он рассчитан на ураган раз в сто лет, на сейсмику 8 баллов, на постепенную осадку грунта. Не на то, что вес здания уменьшится на треть за секунду. Для этого нет главы в СНиП. Для этого нет расчётного сценария. Есть — реальность, в которой башня, спроектированная под 9,81, стоит при 6,87 и качается, качается, качается.

Лена объясняла себе — не впервые, но каждый раз заново, потому что каждый раз hoping, что расчёт даст другой результат, и каждый раз — не давал. Небоскрёб — это баланс. Вес конструкций тянет вниз, ветер давит сбоку. Здание спроектировано так, чтобы вес был достаточным противове- сом ветровой нагрузке. При 9,81 вес — мощный якорь. При 6,87 — якорь на треть слабее. Но ветер не ослабел. Ветер — это атмосфера, атмосфера держится гравитацией, и если гравитация упала, атмосфера расширилась, потоки сместились, но давление ветра на фасад — почти то же. Может, чуть сильнее из-за смещения плотности. Результат: здания стали легче относительно ветра. Они раскачиваются сильнее. Маятник, у которого уменьшили массу груза, но не тронули силу раскачивания.

Лена смотрела на башню через окно бытовки. Верхние этажи — на фоне предрассветного неба — чуть покачивались. Амплитуда — сантиметров сорок, может, сорок пять.

Ветер — четыре метра в секунду. Лена знала: при восьми метрах — метр. При двенадцати — два. При пятнадцати — конструкция достигнет предела. А прогноз на завтра — порывы до двенадцати.

Она взяла телефон. Набрала номер — не Марка, не в кризисный центр. Международный совет по высотным зданиям. Номер был в записной книжке, добавила вчера, когда поняла, что одна не справится, и никто в стране не справится, потому что никто в стране не строил башен такой высоты — только она.

Голос на том конце — женский, усталый, с английским акцентом. С тем тоном, который бывает у людей, отвечающих на звонки, которые не хотят получать.

— Council for Tall Buildings, how can I help?

— Москва. Башни качаются. Нужен обмен данными.

Пауза. Голос сказал:

— Вы двадцатые. Жду вас на линии через час.

Двадцатые. Девятнадцать городов до неё. Девятнадцать башен, девятнадцать инженеров, которые не спали и счита-

ли амплитуду и смотрели, как качается то, что должно стоять неподвижно. Лена положила трубку. Допила остывший кофе — холодный, горький, с привкусом пластика и цемента. Посмотрела на руки. Мозоли — новые, красные, поверх старых, белых, от чертёжных линеек и карандашей. Цемент до запястий, серый, как перчатки, которые нельзя снять.

Через окно — рассвет. Серый, осторожный. И башня. Качается.

2

Через час на стройплощадке был рассвет, и Лена работала.

Команда — двенадцать человек, инженеры и рабочие, собранные вчера по звонку Заречного, через кризисный центр, по приказу. Лена не нуждалась в приказе — она нуждалась в людях. И люди пришли — не потому что приказ, а потому что они были строители, и строители, когда здание качается, идут к зданию. Это — инстинкт. Как врачи идут к раненым. Как пожарные — к огню. Строители — к зданию.

Команда работала в три смены, без выходных, без сна,

кроме тех, кто падал от усталости. Лена отправляла их в бытовку спать по три часа — не из жалости, а из расчёта: уставший человек роняет вещи, а ронять вещи на стройке — убивать.

Первое — дополнительные бетонные ядра в основания башен. Ядро жёсткости — внутренний бетонный ствол, который несёт горизонтальную нагрузку. У существующих башен ядро уже есть, но рассчитано на 9,81. Нужно залить дополнительный объём — увеличить массу, чтобы компенсировать потерю веса. Бетон возили самосвалами — тридцать машин в час, с завода в Химках, переведённого на круглосуточный режим. Каждый куб весил на треть меньше, но плотность не изменилась, и его нужно было больше — на тридцать процентов больше, чтобы дать тот же якорь. Лена считала в уме: для «Федерации» — тысяча двести кубов дополнительно. Две недели непрерывной заливки. Если две недели есть.

Второе — стальные оттяжки к земле. Тросы из арматурной стали, диаметром от 20 до 40 миллиметров, натянутые от верхних этажей к анкерным блокам в грунте. Это нестандартное решение: оттяжки применяют для мачт, для башенных кранов, но не для небоскрёбов — небоскрёбу оттяжки не нужны, он стоит на собственном весе. Но вес больше не работал. Лена натягивала двенадцать тросов на «Федера-

цию» — по три с каждой стороны, как растяжки палатки. Тросы были временные, уродливые, не предусмотренные архитектурным проектом. Лене плевать на архитектуру.

Один из рабочих — Вахтанг, сорок пять лет, бригадир, с руками как ковши экскаватора — стоял на краю котлована и смотрел, как бетоновоз выливает раствор. Бетон — серый, густой, с запахом извести и железа — текёл в опалубку медленно, лениво, будто ему тоже тяжело. Вахтанг курил, щурясь на рассвет.

— Лен, — сказал он. — Мы заливаем воздух.

— Что?

— Воздух. Бетон — якорь. Якорь держит, потому что тяжёлый. Тяжёлый — потому что гравитация. Нет гравитации — нет тяжести. Нет тяжести — зачем якорь?

Лена молчала. Вахтанг — не физик. Но он прав, и Лена знала, что он прав, и знала, что его правота — не повод останавливаться. Якорь при 6,87 весил на треть меньше, но он всё ещё весил. Тросы натянуты. Ядро залито. Здание стояло — пока.

Работа — тяжёлая, монотонная, изматывающая. Бетон

пах известкой. Тросы резали перчатки. Лена не ела — нет времени, нет аппетита, нет мысли о еде. Кофе — единственное, что входило в тело, и кофе — единственное, что держало. Руки — в цементе, до запястий, серые. Мозоли — на ладонях, на пальцах, новые, красные, поверх старых, белых. Лена — инженер, не строитель, но третий день она была строитель, и тело знало: мозоли — это правильно. Мозоли — это работа. Работа — единственное, что можно делать, когда мир качается.

3

Вечером — конференц-связь. Вагончик-бытовка, ноутбук, экран с разделённым на четверти окном: Дубай, Шанхай, Чикаго, Москва. Лена — единственная женщина на связи. Пятеро мужчин смотрели с тем выражением, которое бывает у людей, которые устали одинаково и не хотят это признавать.

Координатор Совета — Ричард Лоу, британец, шестидесяти двух лет, голос ровный, как линия на гравиметре — открыл связь:

— У нас сорок три высотных здания в критической зоне.

Высота — от двухсот метров. Все в одинаковом состоянии. Вес снизился, ветровая нагрузка — нет. Амплитуды качания превышают расчётные в два-три раза.

Дубай. Бурдж-Халифа — 828 метров, самое высокое здание в мире. Инженер на связи — Амир, молодой, с быстрым голосом и испуганными глазами.

— Амплитуда верхних этажей — один метр от оси. Один метр. При ветре семь метров в секунду. При порывах до пятнадцати — амплитуда достигнет трёх метров. Расчётный предел конструкции — два с половиной. Три метра — за пределом. Если ветер усилится — падение неизбежно.

Он сказал «неизбежно». Не «возможно», не «вероятно» — неизбежно. Восемьсот двадцать восемь метров бетона и стекла — маятник, и маятник раскачивался, и остановить его было нельзя.

Шанхай. Шанхайская башня — 632 метра, спиралевидная, с двойным фасадом, который должен был гасить ветер. Инженер — Чэнь, пожилой, говорил медленно, с паузами, в которых была не нерешительность, а тяжесть.

— Амплитуда — восемьдесят сантиметров. Демпферы работают хуже. Массивные маятники внутри здания, кото-

рые гасят колебания, — их собственный вес уменьшился. Демпфер, рассчитанный на тонну при 9,81, весит семьсот килограммов при 6,87. Он не гасит колебание — он сам становится частью колебания. Здание и демпфер качаются вместе. Резонанс.

Чикаго. Уиллис-тауэр — 442 метра. Инженер — Томас, хриплый, с голосом человека, который курил три дня без перерыва.

— Верхние этажи эвакуированы. Здание закрыто. Городские власти рассматривают опцию — контролируемое обрушение. Если оставить — может упасть сам, и упадёт не туда, куда захочешь. Если обрушить контролируемо — хотя бы выберешь направление. Но как обрушить контролируемо здание в городе? Ветер. Вес. В новом мире старые методы не работают.

Лена слушала. Потом заговорила — коротко, чётко, как доклад на защите:

— «Федерация» — 374 метра. Амплитуда — сорок сантиметров, растёт. Заливаю дополнительные бетонные ядра. Натягиваю стальные оттяжки. Временно. Нужно — постоянно. Нужен пересчёт всех высотных зданий мира под новую гравитацию. Нужна новая нормативная база. Нужно — вре-

мя, которого нет.

Пауза. Лоу:

— Сколько у вас времени?

Лена смотрела в окно бытовки. Башня «Федерация» на фоне темнеющего неба. Качалась. Сантиметров сорок, может, пятьдесят. Ветер — пять метров в секунду. Прогноз на завтра — порывы до двенадцати.

— Не знаю, — сказала она. — Может, дни. Может, часы. Зависит от ветра.

Лоу:

— Ветер — единственная переменная, которую мы не контролируем.

Лена:

— Единственная — нет. Мы не контролируем гравитацию.

Молчание. Экран с четырьмя лицами. Четыре инженера, четыре здания, четыре города — и одна общая проблема, у

которой нет решения, есть только временные меры. Бетон, тросы, надежда. Лена отключилась. Смотрела на руки — мо- золи, цемент. Смотрела на башню.

Башня качалась.

4

Марк приехал на стройплощадку поздним вечером.

Он звонил Лене — трижды, не дозвонился. Потом по- звонил Заречному — не потому что хотел через началь- ство, а потому что больше некому. Заречный сказал: «Она на Москва-Сити. Стройплощадка «Федерация». Пропуск оформлю». Марк поехал. На метро — машины в городе дви- гались плохо, водители не привыкли к новой инерции, ава- рии, пробки. Марк решил, что метро надёжнее. Метро — под землёй, и под землёй гравитационные эффекты мягче. Поезд шёл ровно, без привычного прижима на поворотах, и Марк стоял у двери и думал не о физике — о Лене.

Стройплощадка — оазис света в тёмном городе. Прожек- торы, фары бетоновозов, искры сварки. Марк прошёл через КПП — охранник смотрел на пропуск, на Марка, на про-

пуск. Пропустил. Марк шёл к бытовке. Ноги ступали по бетону, по грязи, по щебню — каждый шаг длиннее обычного на сантиметр-два, и тело помнило, и тело привыкало, но голова не могла привыкнуть, не должна.

Лена вышла из бытовки — в каске, в строительном жилете, с планшетом в руке. Увидела Марка. Остановилась. Два шага между ними — и в этих шагах год молчания, развод, Соня, пустая квартира, чужая сторона кровати.

Марк стоял — в сером свитере с катышками, с трёхдневной щетиной, с тёмными кругами под глазами, которые стали глубже за три дня. Лена стояла — в цементе до локтей, в каске, с мозолями, которых не было три дня назад. Оба изменились. Оба не узнавали друг друга в этих изменениях.

— Ты как? — Марк.

— Работаю. — Лена.

— Я звонил.

— Знаю. Не могла говорить.

— Сейчас можешь?

— Сейчас — тоже не очень.

Пауза. Марк смотрел на её руки. Мозоли, цемент, трещина на большом пальце — от троса, от стальной струны, которая резанула по перчатке. Лена видела, что он смотрит, и убирала руки — за спину, привычным жестом, жестом, который был у неё и раньше, когда она не хотела, чтобы видели, что ей больно. Марк знал этот жест. Год совместной жизни — и год после — и он знал: когда Лена убирает руки за спину, ей больно, и она не хочет, чтобы кто-то знал.

— Соня как? — Марк.

— Соня дома. С соседкой. — Лена.

— Я хочу её видеть.

— Не сейчас, Марк.

— Когда?

— Когда я скажу. Не сейчас.

Марк не спорил. Не потому что согласен — потому что знал: спорить с Леной, когда она в каске и с мозолями, бесполезно. Она на войне. На войне не спорят о визитах.

Он снова смотрел на её руки. Лена не убирала — на этот раз не убирала, потому что устала прятать, и устала защищаться, и устала — физически, телесно, от недосыпа, от бетона, от тросов, от ветра, который качал башню, от мира, который стал на треть легче. Она протянула руки — не к Марку, а просто показала, как показывают рану врачу: вот, смотри, это моя работа, это моя боль, это мои руки, которые три дня назад были чистыми, с маникюром, с кольцом, которое я сняла и положила в ящик, потому что кольцо мешало работать.

Марк взял её руки — обе, в свои. Цемент крошился между ладонями. Мозоли — под его пальцами, тёплые, шершавые, чужие. Лена не отнимала. Одну секунду, две, три. Потом — отнимала.

— Не надо, — сказала она. — Не сейчас.

И «не сейчас» — не отказ. «Не сейчас» — это признание, что есть «потом». Что «потом» возможно. Что «потом» не закрыто. И Марк слышал это, и это было больше, чем он ждал, и больше, чем заслужил, и он молчал, и молчание было правильно, потому что слова — лишние, и руки — лишние, и только молчание — не лишнее, потому что молчание честно.

5

После диалога с Леной Марк стоял на стройплощадке, один. Лена ушла к команде.

Он смотрел на небо. Привычный жест, рефлекс физика: когда не знаешь, что думать о земле, смотри вверх. Небо — октябрьское, ночное, без облаков. Но что-то не так.

Облака — выше обычного. Марк видел небо Москвы каждый день — тридцать восемь лет, из них двадцать в сознательном возрасте, и небо он знал, как знал лестницу, метро, гравитацию. Облака в октябре — низкие, серые, на высоте 800–1500 метров. Сегодня — ни одного. Небо чистое, чёрное, со звёздами, которых в Москве обычно не видно из-за подсветки и облаков. Но сегодня — видно. И звёзды на своих местах, а вот воздух — нет.

Атмосфера держится гравитацией. Гравитация уменьшилась — атмосфера расширилась. Не мгновенно, не катастрофически — но плотность на уровне земли упала, а высота верхней границы — тропопаузы — поднялась. Воздух раздулся, как шар, у которого ослабили тетиву. Облака, кото-

рые обычно висели на тысяче метров, — теперь на тысяче трёхстах, тысяче пятисот. Нижние слои — реже, верхние — дальше. Небо выше. Звёзды ярче. Воздух чище.

И ещё — ветер. Ветер — это перепад давления, а давление — вес атмосферы, а вес атмосферы — на треть меньше. Перепады другие, потоки другие, роза ветров смещена. Марк не метеоролог, но физику атмосферы он знал на уровне общего курса. И общая физика говорила: если гравитация упала на треть, атмосфера перестала быть прежней. Она шире, реже, выше. И ветер, который давил на башни, — это ветер из нового мира, из новой атмосферы, и он не подчиняется старым прогнозам.

Марк смотрел вверх и видел — впервые в Москве — Млечный Путь. Тусклая, белёсая полоса через небо, которую он видел только в детстве, на даче, вдалеке от города. В Москве — никогда. Москва — световое пятно, оранжевое, с подсветкой, которая гасит звёзды. Но сегодня часть подсветки отключена — Заречный приказал экономить, или ЧС, или перегрузка сети — и небо темнее, и звёзды ближе, и Млечный Путь над Москва-Сити, над башнями, которые качались. И в этой картине — что-то неправильное, что-то, что не стыковалось: космос над головой, а здания падают. Звёзды горят, а башни качаются. Вселенная красива, а мир ломается.

Марк думал: Алиса. Алиса на Алтае, на горе, с телескопом. Алиса видела это первой. Алиса поймала сигнал за три недели до того, как мир изменился. Марк не звонил ей — не знал номера, не думал, не успел. Но теперь — думал. Теперь думал, что нужно позвонить. Или поехать. Или хотя бы спросить Заречного, есть ли данные с обсерваторий. Потому что если небо изменилось — значит, изменилось и то, что за небом. И то, что за небом, — может быть причиной.

Марк стоял на стройплощадке, смотрел на небо, и небо было чистое, высокое, звёздное, и в этой чистоте — не красота, а угроза. Потому что чистое небо — небо без облаков, а облака — буфер, амортизатор между землёй и космосом. Нет облаков — нет буфера. И если из космоса придёт что-то ещё — не сигнал, не нота, а что-то серьёзнее — небо не защитит. И здания не защитят. И гравитация не защитит, потому что гравитация — первая жертва.

6

В тридцати километрах от Москвы, в подмосковном бункере — не том, где Заречный, а другом, военном, с экранами, на которых горели орбиты, — дежурный офицер капи-

тан Громов заметил отклонение в тридцать семь минут после полуночи. Не потому что отклонение появилось в тридцать семь минут — а потому что он тридцать семь минут смотрел на экран и не верил, и пересчитывал, и проверял, и звонил в соседний сектор, и там — то же самое.

Орбита МКС сместилась. Не сильно — на 400 метров выше. МКС летела на высоте около 408 километров, и 400 метров — меньше процента. Но — вверх. Орбита поднялась. И не только МКС — навигационные спутники GPS и ГЛОНАСС. Все — на десятки метров выше расчётных. Сдвиг маленький, нарастающий. Не скачок, не ступенька — плавный, медленный подъём, как график, который ползёт вверх по миллиметру.

Если гравитация уменьшилась — орбиты расширяются. Это закон Кеплера: меньше гравитационный потенциал — больше радиус орбиты при той же скорости. Спутники, летящие со скоростью, рассчитанной на 9,81, при 6,87 летят слишком быстро для своей высоты и поднимаются на более высокую орбиту. Не катастрофа для спутников — они могут висеть и выше. Но катастрофа для навигации: GPS и ГЛОНАСС — это точность до метров, а сдвиг орбиты — сдвиг координат, и сдвиг нарастает. Навигация ломается. Точнее — уже сломалась, но пока тихо, незаметно для обывателя, потому что обыватель не ходит по координатам, а ходит по

привычке. Но пилоты, военные, спасатели — те, кому нужны точные координаты, — уже видели: дрейф. Ошибка росла.

Громов докладывал наверх — по инстанции, по защищённому каналу. Доклад — короткий, сухой:

— Орбиты МКС и навигационных спутников сместились. Рост — 2 метра в час. Тренд нарастающий. Причина — предположительно, снижение гравитационного потенциала Земли. Влияние на навигацию — значительное и нарастающее.

Наверху — молчание. Потом голос из кризисного центра, голос Заречного:

— Принял. Передайте данные в институт гравитационных исследований. Контакт — Марк Северов.

Громов положил трубку. Смотрел на экран. Орбиты ползли вверх. Медленно, по миллиметру, по метру. МКС уходила. Уходила не в космос, не в бездну — просто вверх, на новую орбиту, на новую высоту, в новый мир, где старые координаты не работали. И Громов думал — не о физике, не об орбитах — о том, что навигация, на которой держалось всё: самолёты, корабли, ракеты, телефоны, карты, — навигация ломалась. И когда она сломается окончательно — мир останется без ориентиров. Без координат. Без направления.

7

Три линии сходились к одной точке.

Лена.

Лена стояла у подножия «Федерации». Ветер усилился. Порывы до девяти метров в секунду — прогноз не оправдался, ветер сильнее, потому что атмосфера новая, а прогнозы старые. Башня качалась — амплитуда семьдесят сантиметров. Тросы натянуты, стонали, как струны. Бетон в ядрах ещё не застыл, ещё не набрал прочность, и ядро — не якорь, а желе, и якоря не было. Лена смотрела вверх, на верхние этажи, которые качались, и думала: если ветер усилится ещё на три метра — предел. И если предел — то что? Обрушение? Не сразу. Сначала трещины в облицовке. Потом — в несущих. Потом — в ядре. Потом — сдвиг. Потом — падение. Не за секунду — за часы. Но падение. И в башне — пока — люди: охранники, техники, три инженера из её команды, которые не успели спуститься.

Лена сказала в рацию:

— Все — вниз. Все из башни. Сейчас.

****Марк.****

Марк в метро — ехал обратно, в институт. Телефон — звонок от Заречного. Марк взял в вагоне, прижав трубку к уху, потому что в метро шумно, и гудки, и стук колёс, и голос Заречного — глухой, далёний, как из колодца.

— Северов. Данные с военного контроля. Орбиты сместились. МКС, спутники. Растёт. Нужно объяснение. Может ли падение гравитации вызвать орбитальный сдвиг?

Марк закрыл глаза. Думал — быстро, привычно, как считают в уме, не задумываясь. Да. Может. $\backslash(g\backslash)$ упала — гравитационный потенциал уменьшился — орбиты расширились. Это закон. Это следствие. Это подтверждение, что падение гравитации — не локальный эффект, не московский, не российский — планетарный. Глобальный. Космический.

— Да, — сказал Марк. — Может. И будет расти. Как быстро?

— Два метра в час. Тренд нарастающий.

Марк молчал. Два метра в час. Через сутки — сорок во-

семь. Через неделю — триста тридцать шесть. МКС уйдёт на километр. Навигация ляжет. А если гравитация упадёт ещё — на сорок, на пятьдесят, на семьдесят процентов — атмосфера истечёт, и спутники будут летать не в вакууме, а в ничто, и орбиты станут другими, и ничего из того, что человечество построило в небе, не будет на месте.

— Пришлите данные, — сказал Марк. — Все. С графиками. И передайте в NASA и ESA. Это не наш вопрос. Это общий.

Заречный:

— Уже передал. У них то же самое.

****Алиса.****

Алиса на Алтае. Тимур рядом — вернулся накануне, с продуктами и с новостями, которые были не новости, а подтверждение: мир изменился, и все знали. Алиса смотрела на экран. Сигнал не повторился. Но фон изменился. Не уровень — спектр. Как будто нота, которая звучала раньше на одной частоте, теперь шире, глуше, как будто источник приближался. Или усиливался. Алиса не знала — что. Знаела — что. Что-то из пустого сектора, где ничего нет, — двигалось к ним. Или они — к нему. Или мир — между.

Марк вышел из метро. Город — ночь, тёмная, тихая. Ветер сильнее, чем днём. Деревья качались. Листья летели — выше, дольше, медленнее. Марк шёл к институту и думал: башни качаются, спутники уходят, атмосфера расширяется, и всё это — один процесс. Одна причина. Одна — неизвестная. И он физик, и его работа — найти причину. Но причина не в уравнениях, не в формулах, не на доске. Причина где-то далеко, в пустом секторе космоса, откуда пришла нота, которую Алиса слышала за три недели до того, как мир стал лёгким. И Марк думал: нужно ехать к Алисе. Или звонить. Или хотя бы узнать, что она слышит. Потому что если причина — там, в космосе, — то и ответ — там. А здесь, на земле, — только бетон, тросы, и башни, которые качаются, и небо, которое чистое, и звёзды, которые яркие, и ветер, который сильнее, и мир, который на треть легче и на сто процентов ближе к краю.

Марк поднял воротник. Пошёл. Ветер толкал в спину — и толкал сильнее, чем должен, потому что Марк был легче, а ветер — нет.

И в этом была вся проблема. В этом — весь мир.

Кофе кончился вчера.

Алиса Ким помнила это с точностью, с какой помнят последнее: последний глоток, последний фантик, последний взгляд на часы перед тем, как перестать считать время. Кофе был — и вот его нет. Бутылка с горной водой стояла на краю стола, тёплая, с привкусом пластика, и Алиса не пила — просто держала её, как якорь. Руки искали занятие, а занятие было одно: держать. Бутылку, стол, край монитора, ручку. Держаться.

Четвёртая ночь.

Рабочий стол выглядел так, словно по нему прошёл маленький серебристый ураган. Фантики от «Коровки» — серебристые, смятые, повсюду: между клавишами ноутбука, под журналом, на полу, прилипшие к кружке с остатками вчерашнего чая. За четыре ночи их стало больше — Алиса жуёт конфеты, чтобы не спать. Сахар — единственное топливо, единственная защита от той мягкой, тягучей темноты, которая подкрадывается сзади и кладёт ладонь на затылок, и ладонь тяжёлая, и сладкая, и невозможно не закрыть гла-

за, невозможно не сдатьсь. Алиса не сдавалась. Она жевала «Коровку» — одну за другой, methodically, как солдат жуёт сухарь, — и серебристые обёртки копились, как свидетельства: вот эта — от второй ночи, вот эта — от третьей, вот эта, с мятным привкусом, — от начала четвёртой. Жёлтые полосы на обёртках — как зарубки на дереве. Сколько осталось. Сколько пройдено.

Три монитора. На главном — спектрограмма сигнала, живая, ползущая, с пиками и впадинами, как кардиограмма, только кардиограмма сердца, а это — кардиограмма неба. На втором — архив за три недели: столбцы данных, координаты, временные метки, и среди них — та самая, первая: 06:14. Аномальный импульс. RA 14h 32m, Dec $-62^{\circ} 15'$. Одна нота на клавиатуре, которой не существовало. Три недели назад. На третьем мониторе — пустой браузер. Интернет работает — спутниковая тарелка на крыше бытовки, связь через низкоорбитальные спутники, которые сдвинулись после шторма, и теперь сигнал то есть, то нет, как дыхание больного. Алиса не читает новости. Она знает, что мир изменился. Тридцать процентов — не слух, не догадка. Она видит по приборам, чувствует телом, когда выходит наружу: каждый шаг длиннее на треть, каждый вдох — глубже, потому что атмосфера расширилась и воздух разределся, и лёгкие набирают больше, чем нужно, и голова кружится от избытка кислорода, как на вершине горы, только наоборот — не от

высоты, а от лёгкости. Мир стал легче на треть. И Алиса — тоже. Но то, что она несёт внутри, — тяжелее с каждой ночью. И этот контраст — лёгкое тело, тяжёлая голова — был самой точной метафорой нового мира.

Ветер за стеной купола усилился. Деревья скрипели — не по-осеннему, не от холода, а от чего-то другого, как будто деревья почувствовали: земля держит их слабее, и корни — не якорь, а воспоминание об якорю, и каждый порыв ветра теперь — серьёзнее, чем неделю назад. Где-то внизу, в посёлке, темно — свет отключали на два дня, потом дали, но нестабильно, и фонари мигали, как нервный тик. Тимур ездил за продуктами вчера — вернулся с двумя пакетами макарон, банкой тушёнки и керосиновой лампой. Лампа стояла на полу, не зажжённая, как запасной вариант на случай, если электричество опять уйдёт. Алиса смотрела на неё и думала: керосиновая лампа на обсерватории в двадцать первом веке. Как в девятнадцатом. Только в девятнадцатом веке люди смотрели на небо и верили, что там — бог. Сейчас Алиса смотрит на небо и знает, что там — нет бога. Там — что-то другое.

Недосып — это не усталость. Алиса поняла это на второй ночи, когда тело прошло через обычную границу — четыре часа, три, два — и не сломалось, а перешло в другой режим. Как будто мозг, лишённый нормального цикла, пере-

ключился на резервное питание, и на резерве видно то, что на основном скрыто за фильтрами сознания. Она вспоминала статью о депривации сна у пилотов дальней авиации: после трёх суток они начинали видеть паттерны в шуме. Галлюцинации? Или — обострение, снятие цензуры, как если бы мозг, уставший держать оборону, открыл двери, которые обычно заперты, и через порог хлынуло то, что обычно не пускают: слабые сигналы, далёкие соответствия, связи, которые в нормальном состоянии отменяются как случайность. Пилоты видели паттерны в облаках. В шуме турбин. В мерцании приборной панели. Может — галлюцинации. А может — нет.

Алиса не знала. Знала одно: четыре ночи назад она смотрела на экран и видела шум. Сейчас она смотрела на тот же экран — и видела структуру. Либо сигнал изменился. Либо она изменилась. Или — оба.

Она запускает пакет анализа.

Код, который она писала три года назад для проекта SETI, — не для обсерватории, не для работы, а для себя, из упрямства и из веры. По ночам, между сменами, между «Коровками», между взглядами на плакат «I Want to Believe». Код —

на Python, на старом ноутбуке, с библиотеками, которые она скачивала через спутниковый интернет, медленно, по кусочкам, зимой, когда связь работала хуже всего и каждая загрузка была как экспедиция за водой в пустыне. Код искал в радиосигналах повторяющиеся последовательности, периодичность, неравномерности, которые не объясняются естественными источниками. Пульсары — периодичны, но их период — механический, как часы, без вариаций. Шум космического фона — хаотичен, без повторов. Искусственный сигнал — должен повторяться, но с модуляцией, с изменениями, которые не случайны, а подчинены закону. Закон — признак разума. Повторение без закона — механика. Повторение с законом — мысль.

Алиса адаптировала код для гравитационного диапазона. Переписала фильтры, поменяла оконную функцию, добавила преобразование Фурье с узкими полосами — узыше, чем у LIGO, узыше, чем у Virgo, на грани разрешения детектора. Это была работа не на неделю — на месяц. Но она сделала её за три года, по ночам, между «Коровками» и звёздами. Три года — на код, который, как она знала, скорее всего ничего не найдёт. «I Want to Believe». Верить — не значит знать. Верить — значит писать код в три часа ночи на горе, пока мир спит, и не знать зачем.

Алгоритм работает медленно. Старый ноутбук, большие

массивы — три недели данных, непрерывная запись, гигабайты. Полоса прогресса на экране — тонкая, зелёная, ползёт, как гусеница по листу. Алиса смотрит на неё и думает: вот так и наука — ползёт, и никогда не знаешь, что в конце. Может — ничего. Может — всё. Может — три года ночных смен впустую, и код, который ничего не нашёл, и фантики, которые некому убирать, и плакат, который выцвел, и вера, которая не подтвердилась. А может — сейчас. Полоса ползёт. Алиса смотрит. Жуёт «Коровку». Фантик падает на клавиатуру.

Алгоритм выделяет фрагмент. Сравнивает. Отбрасывает. Алиса не дышит. Снова выделяет — другой фрагмент, в другой части записи. Сравнивает. Останавливается.

На экране — результат.

Повторяющаяся последовательность. Периодичная. С регулярностью, которая не бывает у естественных источников. Период — около ноль целых семьдесят три сотых секунды. Модуляция — нелинейная, период меняется по закону, который Алиса узнаёт через три секунды, потому что три года изучала его на лекциях и ещё год — сама, по статьям, по учебникам, по графикам изысканий, которые никто не читал, кроме неё и ещё полусотни людей на планете. Модуляция гравитационной волны. Не естественной — слия-

ние чёрных дыр даёт хаотичный, затухающий сигнал, один всплеск и тишина. Искусственной. Кто-то модулирует гравитационное поле так, как радиостанция модулирует несущую частоту. Кто-то вкладывает информацию в гравитацию. Кто-то говорит. Не словами. Не звуком. Не светом. Гравитацией.

Алиса смотрит на экран. Видит то, что нельзя не увидеть. Повторяющаяся последовательность, модулированная гравитационная волна, искусственный паттерн. Три года она хотела верить. Три года жевала «Коровку» в три часа ночи и писала код, который, может быть, ничего не найдёт. Сейчас — нашёл. И Алиса знает. И знание — не радость, не восторг, не «я же говорила». Знание — холод. Холоднее, чем минус пять за стеной купола. Холоднее, чем горная вода в пластиковой бутылке. Холоднее, чем всё, что она знала.

Она думает о том, что значит «искусственный». Не «природный» — это понятно, это тривиально. «Искусственный» — значит, кто-то сделал. Кто-то намеренно. Не случайность, не сбой, не аномалия — намерение. Кто-то, кто способен манипулировать гравитацией, как человечество манипулирует радиоволнами, — намеренно воздействует на гравитационное поле Земли. Тридцать процентов — не катастрофа. Тридцать процентов — послание. Или — оружие. Или — и то, и другое. Разница — в интенции, а интенцию из сигнала не вычленишь. Можно вычленишь структуру. Структуру Али-

са видит. Интенцию — нет.

Она берёт журнал. Рука дрожит — впервые за три года. Не от страха, а от недосыпа, но разница неважна. Перо выводит:

> 03:47. Применён алгоритм SETI-паттерн-поиска к данным гравитационно-волнового детектора, сектор RA 14h 32m, Dec $-62^{\circ} 15'$. Результат: повторяющаяся последовательность с признаками искусственной модуляции. Период — ~ 0.73 сек, модуляция — нелинейная, предположительно искусственного происхождения. Корреляция с глобальным падением $\backslash(g\backslash)$ — вероятна. Вывод: источник сигнала воздействует на гравитационное поле Земли целенаправленно. Природа источника — неизвестна.

Последняя фраза — «природа источника неизвестна» — написана, и Алиса смотрит на неё, и знает, что это ложь. Не ложь — недомолвка. Природа известна. Природа — разум. Не человеческий. Другой. Но написать «разум» в журнале наблюдений — значит переступить черту, после которой ты либо гений, либо сумасшедшая, и разницу узнают потом, когда будет поздно. Алиса не дописывает. Кладёт ручку. Смотрит на плакат. «I Want to Believe». Думает: верила. Верила — и дождалась. И теперь не знает, что с верой делать.

Связь — спутниковая, через тарелку на крыше бытовки. Тарелка работает с перебоями: спутники на низких орбитах сместились из-за изменения гравитации, и сигнал то есть, то нет, как голос, который то приближается, то отдаляется. Алиса набирает номер, который нашла в старой адресной книге института — телефон дежурного, круглосуточный, для экстренных случаев. Она звонит впервые за три года. Раньше не было повода. Теперь — есть.

Гудок. Один. Два. Три. Связь рвётся — голос дробится, как изображение в разбитом зеркале. Четвёртый гудок. Ответ.

— Да?

Молодой голос, сонный, с акцентом. Москва, четыре часа утра. Алиса говорит — быстро, чётко, как заученную фразу, хотя это не фраза, а три недели бессонницы и кода:

— Алиса Ким, обсерватория Алтай. У меня данные по гравитационной аномалии. Нужно срочно передать руководству. Я обнаружила искусственный паттерн в сигнале, который коррелирует с падением гравитации.

Дежурный молчит секунду. Алиса слышит, как на том

конце кто-то шевелится — скрип стула, зевок, подавленный, но не до конца.

— Ким, вы сказали? Запишу. Руководство — это вы к кому? К Вершинину?

— К кому угодно. К Северову. К Пятой силе. К кому угодно, кто слушает.

— Ну, передам. Утром. Сейчас все спят.

— Это срочно.

— Понимаю. Передам. Запишите вам перезвонят.

Тишина. Алиса слышит, как дежурный зевает. Кладёт трубку.

Контраст. Алиса только что обнаружила, что кто-то искусственно воздействует на гравитационное поле Земли, и единственный канал, который ей доступен, — сонный дежурный в московском институте, который обещает «передать утром». Мир изменился на тридцать процентов, но бюрократия не изменилась. Бюрократия — единственная сила, которая сильнее гравитации: её невозможно ослабить на тридцать процентов. Алиса думает об этом и почти смеётся

— не от юмора, а от абсурда. Космическая цивилизация модулирует гравитационные волны, а дежурный в Москве зевает. И то, и другое — факты. И между ними — ничего. Стена.

Алиса встаёт. Подходит к окну купола — щель между створками, через которую телескоп смотрит в небо. Ночь. Звёзды. Те же звёзды, что и три года назад, что и тридцать тысяч лет назад. Млечный Путь — резкий, зернистый, ярче, чем обычно: атмосфера расширилась, плотность воздуха на уровне моря упала, и звёзды стали чётче, как будто с неба сняли фильтр. Красота. Та же красота, что и всегда. Но теперь — с подтекстом. За красотой — намерение. За звёздами — кто-то.

Алиса смотрит и впервые в жизни чувствует страх перед небом. Не восхищение, не трепет, не «I Want to Believe» — страх. Тот самый страх, который испытывали мореплаватели, глядя на горизонт: а что если там — не край мира, а что-то хуже? Что если там — то, чему мы не готовы встретиться? Небо, которое всегда было убежищем — высоким, далёким, чистым, — стало угрозой. Небо стало стеной. И за стеной — кто-то.

Всю жизнь Алиса смотрела вверх и видела красоту. В созвездия, в Млечный Путь, в Юпитер, в звёзды, которые стояли как гвозди в бархате. Красота была фактом, как грави-

тация, как воздух. Теперь красота стала маской. За маской — намерение. За намерением — разум. За разумом — цель. А цель — неизвестна, и от этого — страх, густой, первобытный, доцивилизационный, страх существа, которое поняло, что оно — не одно, и что сосед — сильнее.

Алиса стоит у окна. Держит бутылку с тёплой водой. Не пьёт. Держит.

Тимур не спал — но не потому, что не мог, а потому что Алиса не спала, и он это знал. Он заходил трижды за ночь — приносил чай, проверял, молчал. Алиса не замечала или делала вид, что не замечала. Тимур — аспирант, напарник, друг, почти — но не совсем. «Почти» — слово, которое Алиса носила в себе полтора года, как недосказанное, как невыключенный свет в дальней комнате, к которому привыкаешь и забываешь выключить. Тимур знал. Алиса знала, что он знает. Оба молчали. На обсерватории нельзя. Работа важнее. Так решила Алиса. Тимур не спорил — не потому что соглашался, а потому что ждал. Он был из тех, кто ждёт.

Он заходит. Две кружки — обычный чай, чёрный, из пакетиков, горный, пахнет железом и дымом. Ставит одну рядом с Алисой, садится на второй стул — старый, с желез-

ными ножками, который скрипел. Алиса не поворачивается. Экран. График. Последовательность.

Тимур смотрит.

Он видит — не сразу, потому что он скептик, и скептик видит последним. Но видит. Повторяющаяся последовательность. Модуляция. Период. Он молчит. Долго. Чай остывает. Алиса пьёт — обжигается, не замечает. Тимур не пьёт. Смотрит. Потом — открывает свою программу, написанную им, независимую, на другом языке, с другим алгоритмом. Запускает анализ. Проверяет. Через две минуты — его код подтверждает: паттерн есть. Искусственный.

— Ты уверена? — спрашивает Тимур.

— Код подтверждает. Твой код. Не мой.

Тимур молчит. Смотрит на экран, на свои результаты, на совпадение — его алгоритм и алгоритм Алисы, написанные независимо, на разных языках, с разных сторон, — сошлись. Два пути — один вывод. Это не случайность. Это — методология. Это — наука. Это — то, что нельзя опровергнуть, потому что проверка — не мнение, а процедура, и процедура пройдена, и результат — на экране, и результат — невозможно.

— Мой код — подтверждает, — говорит Тимур медленно.
— Но мой код не говорит, кто. Он говорит — что. А что — невозможно.

— Невозможно — это слово для тех, кто спит, — говорит Алиса. — Мы не спим четвёртую ночь. Для нас возможно всё.

Тимур пьёт остывший чай. Смотрит на экран, на Алису, на плакат «I Want to Believe». Думает. Алиса видит, как он думает — не быстро, не медленно, а с той осторожностью, с какой человек перебирает в руках что-то хрупкое и тяжёлое одновременно. Тимур думает тяжело и осторожно, как человек, который взвешивает каждое слово на весах, где на одной чаше — карьера, а на другой — правда.

— Если ты права, — говорит Тимур, и каждое слово звучит отдельно, как капли, — нам нужно не в институт звонить, а напрямую в Генштаб.

Алиса оборачивается — впервые за сцену, за ночь, за четыре ночи. Смотрит на него. Тимур — в свете монитора, лицо — тёмные глаза, белые зубы, привычка кланяться, здороваясь. Но сейчас он не кланяется. Он — серьёзный. Она видит его серьёзным впервые. Полтора года — шутки, ворча-

ние по поводу фантиков, южное обаяние, мозоль на пальце. А сейчас — серьёзный. Как будто мозоль болит.

Алиса колеблется. Генштаб — это не институт. Генштаб — это военные, закрытая система, люди с другими приоритетами. Она — астрофизик, а не разведчик. Её сочтут сумасшедшей. Она говорит это вслух:

— Меня сочтут сумасшедшей.

Тимур ставит свою кружку рядом с её. Две кружки на столе, рядом с серебристыми фантиками, рядом с журналом, рядом с ноутбуком.

— Пусть сочтут, — говорит он. — Но пусть проверят.

Шесть слов. И в них — больше здравого смысла, чем во всех её расчётах за четыре ночи. Потому что расчёты — это «что». А «пусть проверят» — это «что делать». Алиса смотрит на Тимура и думает: полтора года она держала дистанцию. «Нельзя». «Работа важнее». «На обсерватории нельзя». Правила — для мира с $(g = 9\{, \}81\backslash)$. В мире с $(g = 6\{, \}87\backslash)$ — другие правила. Или — никаких. И Алиса, которая три года держала дистанцию, впервые — не держит. Не приближает. Просто — не держит. Две кружки на столе. Чай и гравитация. Человеческое и нечеловеческое. И между ними —

Алиса, которая не спит четвёртую ночь и знает.

Алиса не знает номера Генштаба. Но знает Заречного — понаслышке, из новостей, из кризисного центра, который показывали по телевизору в первые дни после шторма. Она не знает его лично. Она знает институтский канал: Вершинин → министерство → кризисный центр. Но Вершинин «спит», а дежурный «передаст утром». Алиса думает: утром может быть поздно. Не потому, что гравитация упадёт до нуля — пока держится на 6,87, четвёртый день, ровно, как будто кто-то установил новое значение и зафиксировал. Но сигнал меняется. Спектр шире, модуляция сложнее. Кто бы ни был источник, он не закончил. Он — в процессе. И процесс — не в пользу Земли.

Тимур предлагает другой путь. У него есть контакт — не прямой, но через научного советника при Совете Безопасности, бывший преподаватель Тимура из университета, который перешёл на госслужбу. Тимур не уверен, что номер работает, но пробует.

Набирает. Гудок. Один. Два. Три. Связь — спутниковая, с перебоями, голос то пропадает, то возвращается, как радиоприёмник в грозу. Четвёртый гудок — ответ.

— Да? Кто это?

Сонный голос. Тимур говорит:

— Александр Витальевич, это Беков. Тимур Беков, с кафедры астрономии. Из обсерватории. Срочно.

Пауза. Алиса слышит её через спутниковую задержку — полсекунды пустоты, как вдох перед словами.

— Беков? Какой обсерватории?

— Алтай. У нас данные. Искусственный сигнал. Гравитационная модуляция. Нужно передать наверх. Срочно.

Долгая пауза. Алиса считает секунды — одна, две, три, четыре. Потом — голос, уже не сонный, а настороженный:

— Вы уверены?

Тимур смотрит на Алису. Алиса кивает — не головой, а взглядом. Глаза в глаза, полсекунды, и в этой полсекунде — всё: три недели данных, четыре ночи без сна, код, проверка, модуляция, страх, вера, «Коровка», плакат. Тимур видит. Повторяет:

— Уверены. Могу прислать данные. Файлом. Прямо сейчас.

— Присылайте. И — никуда больше не звоните. Я сам. Дайте полчаса.

Трубка положена.

Алиса и Тимур сидят в куполе. Две кружки остывшего чая. Экран — модулированная гравитационная волна из пустого сектора космоса. Файл уходит — медленно, через спутниковую тарелку, по шаткому каналу, и полоска прогресса ползёт, и Алиса смотрит на неё, как смотрела на полосу анализа: может — дойдёт, может — нет. Тимур — рядом. Молчит. Алиса — молчит. Молчание — не тягостное, а рабочее, как тишина в операционной, когда всё, что нужно, уже сказано, и осталось — ждать.

Ползёт полоска. Ползёт. Ползёт.

Файл ушёл.

Тимур ушёл спать — не потому, что захотел, а потому что

Алиса сказала: «Иди спи. Утром начнётся. Нужно быть готовым». Тимур посмотрел на неё — долго, с тем выражением, которое бывает у людей, которые хотят сказать что-то важное и не говорят, потому что время не то. Повернулся. Вышел. Дверь закрылась тихо — Тимур всегда закрывал тихо, привычка, выработанная за три года ночных смен.

Алиса осталась.

Она смотрит в окно. Небо — чёрное, глубокое, без единого облака. Звёзды — ярче, чем раньше: атмосфера расширилась, плотность воздуха на уровне моря упала, и звёзды стали чётче, как будто с неба сняли фильтр. Млечный Путь — резкий, зернистый, как фотография с длинной выдержкой. Красота. Та же красота, что и три года назад, что и всегда. Но теперь — с подтекстом. За красотой — намерение. За звёздами — кто-то.

Алиса думает: «I Want to Believe». Три года — верила. Теперь — знает. И хочет — обратно. Хочет не знать. Хочет, чтобы сигнал был шумом, чтобы модуляция — артефактом, чтобы четыре ночи без сна — ошибкой, чтобы код — багом, чтобы фантики — просто фантиками, а не зарубками на дереве, которое рубят. Но код — её и Тимура — подтверждает. И код — не верит, не сомневается, не боится. Код — считает. И счёт — однозначный.

Она закрывает журнал. Кладёт ладонь на обложку — тёплую от монитора, от чая, от четырёх ночей, от правды, которая слишком большая для кожаного переплёта с золотым тиснением «Observations». Тиснение стёрлось от пальцев. От её пальцев. Три года — стёрла. И теперь — не осталось ни одной буквы, которая сказала бы, что она наблюдала. Наблюдала — что? Космос. А космос — наблюдает за ней. И за всеми. И не просто наблюдает — действует.

За окном — звёзды. Те же. Другие.

Глава 7. «В мире»

1

Седьмое утро началось как шестое — и как пятое, и как четвёртое, и как третье. Мир уже не паниковал. Мир устал.

Марк проснулся в 6:29, на минуту раньше будильника, и тело — тело, которое за семь дней научилось жить в 6,87, как человек учится жить с хромотой: не выздоравливает, а привыкает — подняло его с кровати привычным, чуть более лёгким движением. Пружины вздохнули. Квартира молчала. Буква «С» в дальней комнате подмигивала из-за обоев. Кофе в белой чашке со сколом. Утро за окном — серое, москов-

ское, октябрьское, с тем нерешительным светом, который не решил, утро это или вечер. Всё — как вчера. Всё — как позавчера. Седьмой день в новом мире, и новизна обветшала, как обои, как скол на ручке чашки, как привычка пить кофе стоя у окна и думать о дочери, которая — далеко, в другой квартире, с матерью и котом.

Телефон на туманке — новости. Не чрезвычайные, а рутинные. «Гравитационная аномалия: день седьмой». Заголовок — на четвёртой полосе. Между погодой и результатами чемпионата. Мир уже не паниковал — мир приспособлялся, и в этом приспособлении было страшнее, чем в первом шоке, потому что привыкание означает: это всерьёз. Это — надолго. Это — не эпизод, не сбой, не ошибка природы, которая исправится, — это новая реальность, и реальность не извиняется, не объясняется, не просит прощения.

Марк допил кофе. Поставил чашку на подоконник. Посмотрел вниз — четырнадцать этажей, двор, деревья с жёлтыми листьями, пустые качели, которые качались от ветра с амплитудой больше расчётной, и никто не обращал внимания, потому что за семь дней качели, которые качались неправильно, стали нормой. Дети не играли на них — матери не пускали, — но качели качались, и ветер был тот же, и от этого — тихая, привычная, обветшавшая жуть. Нормальность ненормального.

В Токио синкансэнэны не ходили уже пять дней. После крушения на вираже, когда состав на скорости двести семьдесят километров в час ушёл наружу поворота — рельсы не держали, центробежная сила при пониженной гравитации выталкивала вагоны, и компенсация, заложенная в конструкцию, рассчитанная на 9,81, — не работала. Семьсот тонн стали и алюминия сошли с рельсов, как поезд сходит с ума. Погибших — нет, чудо и скорость реакции машиниста, но раненых — сорок три, и рельсы — разорваны, и сеть — остановлена. Японские инженеры пытались пересчитать допуски: радиус, крен, скорость, центробежная сила — все переменные изменились, и старые формулы не работали, и новые нужно было выводить, а выводить — время, а время — жизнь, и пока инженеры считали, страна, которая жила поездами, стояла.

В Нью-Йорке аэропорты были закрыты. JFK и Ла-Гардия — полосы слишком короткие для новой посадочной скорости. В первые двое суток — три катастрофы. Самолёты, которые пытались сесть, выкатывались за пределы полосы: касание жёстче, скорость выше, торможение слабее — при пониженной гравитации тормозной путь длиннее, потому что сила трения зависит от веса, а вес — на треть меньше. Рейс Франкфрут–Сингапур, четвёртый день: пилот, двадцать лет за штурвалом, заходит на посадку в Чанги. Расчётная скорость — двести шестьдесят, но сваливание при пониженной

гравитации — другое, крыло держит иначе, и пилот не знает, при какой скорости крыло перестанет держать, потому что аэродинамика та же, а вес — другой, и весь баланс, на котором он летал двадцать лет, — сместился. Касание — жёсткое, отскок, снова касание, пробег — и полоса кончается. Самолёт выкатывается на грунт, передняя стойка подламывается, нос тянется по земле, искры, рёв, паника. Пассажиры — живы, ремни держали, но нос — в земле, и полоса — позади, и пилот сидит в кресле и смотрит на землю, которая остановила его там, где не должна была. После этого — запрет. ИКАО закрыло небо. Все полёты — отменены. Небо, которое за сто лет стало дорогой, стало снова недоступным. Мир сжался: то, что было в сутках лёта, — теперь в неделях пути.

В Лондоне Биг-Бен отставал на три минуты в сутки. Маятник рассчитан на 9,81, при 6,87 период колебаний — другой, и время, измеряемое маятником, — неправильное. Механик Хранителя часов, человек, который работал там сорок лет — звали его Джеймс, и он был из тех англичан, которые носят галстук даже в одиночестве, — впервые не знал, что делать. Он пытался компенсировать грузом: добавил свинцовую пластину к маятнику, и время чуть выровнялось, но не полностью, и каждый день — новая поправка, и каждый день — новые расчёты, и Джеймс, который сорок лет жил по часам, которые шли точно, теперь жил по часам, которые

врали, и не знал, как их исправить, потому что исправить — значило понять новую физику, а новую физику не понимал никто. Время в Лондоне — неправильное, и это символ, который видели все, кто проходил мимо башни и смотрел на циферблат: мир, который измерял себя секундами и метрами, больше не мог измерять себя ничем.

В Брюховецкой — петух, тот самый, который слетел с крыши в первый день и стал вирусным, жил в новом мире и вёл себя обычно: кукарекал, ходил, клевал. Он не знал, что стал знаменитым. Он просто петух. Мир ломался, а петух — нет. Петух адаптировался без инструкции, без формул, без кризисного центра. Петух был единственным, кто принял 6,87 как данность и не задал ни одного вопроса.

2

Гарольд Уэст сидел в кабинете на втором этаже Дворца Наций, и окно выходило на розарий. За окном — розы, октябрь, озеро, горы. Всё — как было неделю назад. Всё — как будет через сто лет. И именно эта неизменность пейзажа — контраст с тем, что происходило внутри, внутри кабинета, внутри мира.

Уэсту шестьдесят два. Седой, без единого тёмного волоса — как будто волосы сдались первыми, ещё до шторма. Костюм — тёмно-синий, идеально сидящий, потому что Уэст был человек, который контролировал то, что мог: костюм, график, интонацию. Остальное — не мог. Чай — не кофе. Чёрный, без молока, в чашке с эмблемой ООН, чуть сколотой. Уэст пил из этой чашки каждый день, и скол — на той стороне, откуда не видно, и он делал вид, что не знает о нём, хотя знал. Метафора, которую Уэст не формулировал, потому что не думал метафорами, но жил в них: человек, который знает о трещинах и делает вид, что не знает, пока трещина не станет трещиной.

Руки — длинные, сухие, с печатью на указательном пальце правой. След от печати, которую он ставил двадцать лет, работая в британском научном совете. Привычка, которая осталась, как мозоль от телескопа у астронома, как скол на чашке, как трещина в граните у полковника, который сидит в бункере и смотрит на фотографию сына.

Звонок от Генерального секретаря ООН. Короткий разговор — три фразы:

— Да.

— Понимаю.

— Когда?

Уэст положил трубку. Посмотрел в окно. Он знал, что этот звонок будет, — не потому что предвидел, а потому что в кризисе всегда нужен человек, который возьмёт на себя. Уэст — этот человек. Он согласился ещё до того, как спросили.

И ещё — он знал. Не знал — чувствовал. За две недели до шторма Уэст получил письмо. Не электронное — бумажное, в конверте, машинописный текст, без подписи, без обратного адреса. Почта — старомодная, как керосиновая лампа на обсерватории, как газета в метро. Письмо содержало координаты — RA 14h 32m, Dec $-62^{\circ} 15'$ — дату и одну фразу: «Гравитация изменится. Подготовьтесь». Уэст не поверил. Он — учёный, а учёные не верят анонимным письмам. Но — запомнил. Координаты вписал в ежедневник, который вёл от руки, чёрными чернилами, на странице между «Совет по квантовой хромодинамике, 14:00» и «Ужин с Эмили, 19:30». Между двумя обычными записями — координаты, которые через две недели стали эпицентром. Уэст думал об этом письме каждый день после скачка. И каждый день — не говорил. Не потому что скрывал — потому что не знал, что с ним делать. Кто отправил? Откуда знал? Зачем?

Сейчас — в утро седьмого дня — он открыл ежедневник на нужной странице. Три секунды смотрел на координаты, вписанные его почерком — ровным, мелким, экономным, как человек, который экономит чернила и слова. Потом закрыл. Рука — длинная, сухая, с печатью на пальце — легла на обложку. Лицо — ничего не выражало. Уэст был человек, который контролировал то, что мог.

Задача — собрать Международную кризисную группу по гравитационной аномалии. Не консилиум учёных — рабочую группу. С мандатом, с доступом к данным, с правом рекомендовать действия правительствам. Уэст звонил — по защищённой связи, потому что обычная перегружена, спутники дрейфуют, связь рвётся — физикам: ЦЕРН, Макспланковский институт, Токийский университет, Институт Столетова, Принстон, Кембридж, Пекин. Двенадцать центров. Двенадцать звонков. Каждый — короткий, точный, в стиле Уэста: «Доктор? Гарольд Уэст. ООН. Мне нужны ваши данные и ваше время. Конференция — послезавтра. Видеосвязь. Да, я знаю, что авиаперелёты невозможны».

3

Авиация — мёртвая. Не метафора, не образ — факт.

ИСаО закрыло небо на третий день, после трёх катастроф, и небо осталось пустым. Не пустым, как в день без полётов — пустым, как в веке без полётов. Конкорд ушли в музеи, «Боинги» стояли на стоянках, аэробусы — на полосах, и полосы — пустые, и небо — пустое, и облака, которые раньше расчерчивались инверсионными следами, — чистые, нетронутые, как в мире до Райтов. Сто лет потребовалось человечеству, чтобы научиться летать. Семь дней — чтобы разучиться.

Уэст знал: физики не приедут в Женеву. Физики останутся дома — в своих лабораториях, в своих институтах, в своих кабинетах с досками и зачёркнутыми вариантами — и будут смотреть на экраны. Двенадцать экранов. Двенадцать лиц. Двенадцать наборов данных — и одна проблема, у которой нет решения, есть только вопросы.

4

Конференц-зал Дворца Наций — большой, с панелями из тёмного дерева, с микрофонами, с экранами. Пустые стулья вокруг стола — потому что физики не приехали, они на экранах. Двенадцать экранов. Двенадцать лиц. Двенадцать лабораторий, двенадцать стран, двенадцать наборов данных

— и одна проблема.

Уэст открыл. Коротко, без церемоний:

— Мы здесь не для того, чтобы объяснить. Мы здесь, чтобы понять, чего мы не знаем. Каждый — данные, гипотезы, вопросы. Никаких политических заявлений. Только физика.

Это правило будет нарушено. Уэст знает. Но говорит — потому что рамку нужно задать, даже если её не соблюдают.

Доклады. Краткий монтаж — каждый участник, по три минуты, по экрану, по лицу, по данным.

ЦЕРН. Физик — Лефевр, тот самый, чью статью Марк рецензировал в метро в день первый. Лефевр — в белой рубашке, из лаборатории, которая выглядит как операционная. Голос — ровный, французский акцент, каждая гласная — отшлифована.

— Гравитационная постоянная не измеряется напрямую, но косвенные данные — поведение частиц в ускорителе — не показывают изменения $\backslash(G\backslash)$. Вывод: не $\backslash(G\backslash)$. Что-то другое.

LIGO. США. Физик — женщина, лет пятидесяти, корот-

кая стрижка, голос — как у человека, который привык говорить с приборами, а не с людьми.

— Зафиксировали смещение интерференционной картины. Но не гравитационную волну. Что-то влияет на гравитационное поле планеты, но это не волна от известного источника.

Токийский университет. Физик — молодой, с тёмными кругами под глазами, в свитере, не в рубашке — контраст с Лефевром, контраст, который Уэст отметил и не комментировал.

— Данные по приливам. Луна — на месте, орбита — та же, с точностью до измерений. Но приливы — слабее. Океаны — легче на тридцать процентов, лунная гравитация — та же. Приливный баланс нарушен.

Принстон. Физик — пожилой, седой, в очках, с доской за спиной, на которой — формулы, которые больше не работают.

— Модель: пятая сила — возможна. Но требует источника за пределами Солнечной системы. Если источник — внешний, мы не можем его обнаружить нашими приборами. Нам нужны данные, которых у нас нет.

Пекин. Короткий, сухой доклад. Физик — лицо маска, голос — ровный, как стена.

— Данные совпадают. 6,87. Тридцать процентов. Плато. Без гипотез. Мы не знаем.

Четыре слова, которые повторялись на каждом экране, на каждом лице, в каждом докладе. Мы не знаем. Три слова, которые для физика — не признание, а приговор. Физика — наука, которая объясняет. Когда физика не объясняет — она не физика. Она — перечисление того, чего нет. Нет изменения $\backslash(G\backslash)$. Нет гравитационной волны. Нет источника. Нет модели. Нет — ответа.

5

Марк подключился из Москвы. Из института, из своего маленького кабинета с окном во двор и доской с зачёркнутыми вариантами. На экране в Женеве — его лицо: тёмные круги, недельная щетина, серый свитер с катышками. Контраст с Уэстом в идеально сидящем костюме. Контраст с Лефевром в белой рубашке. Марк — из другого мира. Из мира, где не до костюмов.

Марк говорил — медленно, с паузами, не потому что не знал слов, а потому что слова, которые он говорил, — тяжёлые, тяжелее 6,87:

— Мы не знаем, что это. Мы не знаем, когда это закончится. Мы не знаем, ухудшится ли. Единственное, что мы знаем — это не естественное явление. Ни один известный физический процесс не может изменить гравитацию планеты на тридцать процентов за секунду и удерживать на этом уровне неделю. Значит, мы имеем дело с неизвестным фактором — технологическим или иным.

«Технологическим или иным». Последняя фраза, и Марк сделал паузу перед «или иным», и в этой паузе — всё: пятая сила, тёмная материя, искусственный сигнал, который Алиса поймала, космос, пустой сектор, нота из ниоткуда. Марк не сказал «инопланетное». Он не готов. Но «иным» — сказал, и все в зале и на экранах поняли: «иным» — это то, о чём никто не хочет говорить вслух. «Иным» — это не физика. «Иным» — это не человеческое.

Тишина. На экранах — двенадцать лиц, и каждое — неподвижное. Лефевр снял очки. Принстонский физик смотрел в сторону — на свою доску, на свои формулы, которые больше не работали. Пекинский — молчал, лицо — маска. Уэст

— единственный, кто не изменился в лице. Он слушал. Он знал, что кто-то скажет это. Он ждал. И Марк сказал.

— Доктор Северов, — Уэст, — «технологическим или иным» — вы можете уточнить?

— Нет. Не могу. Но я знаю, что исключать нельзя. Мы исключали тридцать лет — и вот результат.

6

После Маркова выступления представитель США — не физик, а советник по национальной безопасности, подключённый к конференции как наблюдатель — задаёт вопрос. Голос — из динамиков, из-за экрана, из Вашингтона, ровный, профессиональный, с тем политическим navigationBar, который отличает людей, привыкших говорить не то, что думают, а то, что нужно:

— Доктор Северов, вы сказали «технологическим». Вы подразумеваете, что некая держава может быть ответственна за аномалию?

Марк — не политик. Он не умеет уворачиваться. Он го-

ворит то, что думает:

— Я подразумеваю, что мы не можем исключать никакую гипотезу, включая ту, которая предполагает искусственное воздействие на гравитационное поле.

Этого достаточно. Слово «искусственное» в устах русского физика, на конференции под эгидой ООН, с американским советником на линии — и дипломатическая взрывается.

США — через советника — заявляют: «Мы считаем необходимым рассмотреть возможность того, что аномалия вызвана применением секретного оружия. Мы призываем все страны к полной транспарентности в отношении гравитационных исследований».

Китай — молчит. Пекинский физик на экране не реагирует, но за его спиной — кто-то шепчется, и камера чуть дрожит. Китай не отвечает. Молчание Китая — красноречивее слов. Молчание — позиция. Молчание — стена. И стена — выше, чем бетон Заречного, потому что за китайской стеной — миллиард четыреста миллионов человек, и ракеты, и армия, и экономика, и всё это — молчит.

Россия — Заречный, не на конференции, но в курсе че-

рез свой канал, передаёт Марку: «Не поддавайся. Не отвечай на политические вопросы. Ты — физик. Говори о физике». Марк — не политик, и он не умеет уворачиваться, но он умеет быть честным, и честность — лучшая защита:

— Я не обвиняю никакую страну. Я говорю, что природа аномалии — неизвестна. И пока мы обвиняем друг друга — мы теряем время, которого у нас может не быть.

Уэст — вмешивается. Холодно, точно, как скальпель:

— Мы здесь не для того, чтобы искать виновных. Мы — для того, чтобы найти причину. Если кто-то хочет обсуждать политику — есть Генеральная Ассамблея. Здесь — наука.

И советник США замолкает. Не потому что согласен — потому что Уэст сказал это тоном, который не оставлял места. Тоном, от которого — тяжелее, потому что он ровный. Ровность — страшнее крика.

Параллельный фон: мир на грани. НАТО на повышенной готовности. Китай отводит войска к границам — не потому что угрожает, а потому что подозревает. Россия — на осадном. Все бояться — не гравитации, а друг друга. Человеческая реакция на непонятное — искать виновного. Не природе — а врага. И пока физики спорят о G и пятой си-

ле, генералы считают дивизии, и дипломаты пишут ноты, и мир, который должен объединиться перед лицом неизвестного, раскалывается — потому что страх не объединяет, а разделяет.

7

Поздний вечер. Бункер Заречного. Серые стены, люминесцентные лампы, ровный свет. Тот самый бункер, та же комната, тот же стол. Конференция закончилась час назад. Сводки на экранах: дороги, эвакуации, амплитуда башен, орбиты. Всё — то же, что вчера, и позавчера, и шесть дней назад. Плато. Гравитация — 6,87. Люди устали. Данные — не меняются. И в этом отсутствии перемен — не спокойствие, а зависание, как самолёт, который не может сесть.

Заречному приносят пакет. Не через почту — через фельдъегеря, из института. Пакет — обычный, бумажный, с печатью РАН. Внутри — не отчёт, не сводка. Внутри:

Флешка с расчётами Алисы Ким. Распечатка журнала наблюдений — записи, от первой — «06:14. Аномальный импульс. RA 14h 32m, Dec -62° 15'» — до последней — «03:47. Искусственная модуляция». Спектрограмма сигнала — на

одном листе, распечатанном на чёрно-белом принтере, и сигнал виден как тёмная полоса на сером фоне — тонкая, чёткая, как царапина на стекле. И записка от Вершинина — короткая, на бланке института: «Полковник, это от астрофизика с Алтая. Ким, Алиса Сергеевна. Обсерватория. Данные, по её утверждению, коррелируют с аномалией. Доставлено через дежурную часть. Прошу ознакомиться. Вершинин». Вершинин — осторожен. Он не пишет «важно» или «срочно». Он пишет «прошу ознакомиться», и в этой формулировке — дистанция: Вершинин не уверен, но передаёт, потому что не передать — хуже, чем передать сомнительное.

Заречный читает. Медленно. Он не физик — он военный, прагматик, человек, который мыслит категориями угрозы и защиты. Но он — умён. И он потерял сына — не сейчас, не сегодня, эта боль — фоновая, ровная, как гравитация 6,87, к которой привыкаешь, но которая не исчезает. Заречный не думает о сыне сейчас. Он работает. Работа — единственное, что держит его на месте.

Он читает журнал Алисы — записи, которые для физика звучат как приговор, а для военного — как разведсводка. «Искусственная модуляция». «Период 0,73 секунды». «Целенаправленное воздействие». Каждое слово — не формула, а вывод. И вывод — один: кто-то делает это намеренно. Не природа. Не случайность. Не сбой. Кто-то — там, в пустом

секторе, где ничего нет, — управляет гравитацией Земли.

Лицо — гранит. Тот же гранит, что и в первой сцене, но теперь — с трещиной, которая стала глубже. Не от сына — от этого. От понимания: враг — не на Земле. Враг — там, откуда сигнал. И с этим врагом не работают ноты, дивизии, переговоры. С этим врагом — не знают, как говорить.

Заречный поднимает трубку. Набирает — не внутренний, не министерский. Прямой. Номер Уэста — тот самый, который Уэст дал ему через дипломатический канал, после того, как Заречный передал данные по орбитам в NASA и ESA. Уэст и Заречный не знакомы лично, но они — два человека, которые понимают друг друга без слов, потому что оба — координаторы, оба — на плечах которых держится то, что ещё держится.

— Уэст. Заречный. У меня есть данные, которые меняют всё. Мне нужна прямая связь с вашей группой. Немедленно.

Пауза. Голос Уэста — ровный, британский, с тем спокойствием, которое не от невозмутимости, а от привычки:

— Что именно, полковник?

— У нас есть доказательства, что аномалия — искусствен-

ная. Не теория. Данные. Сигнал. Модуляция. Источник — космический.

Тишина. Длинная. Та тишина, которая бывает, когда человек на другом конце понимает, что мир, который он знал, — кончился. Не сегодня, не сейчас — тогда, когда Алиса впервые посмотрела на экран и увидела ноту. Но сейчас — это стало официальным. Данные на столе. Уэст молчит — и в этом молчании — всё: его собственное анонимное письмо, координаты в ежедневнике, предупреждение, которое он не разгласил. Он знал — или подозревал. И теперь Заречный — говорит ему то, что он боялся услышать.

— Жду ваши данные, — говорит Уэст. — И, полковник... на каком языке мы теперь говорим? На языке физики?

Заречный:

— На языке войны.

Заречный кладёт трубку. Смотрит на спектрограмму. Тёмная полоса на сером фоне. Линия. Тонкая, чёткая, как граница между миром, который был, и миром, который наступил. И по эту сторону границы — он, и бункер, и лампы, и сводки, и мёртвый сын, и живой город, и Марк, который не дозванивается дочери, и Лена, которая укрепляет башни,

и Алиса, которая не спит четвёртую ночь, и петух, который кукарекает, — а по ту сторону — нота. Одна нота. Из ниоткуда. Которая не замолкает.

Глава 8. Дочь, которая умеет летать

1

Воскресное утро, восьмые сутки после скачка. Марк дома — редкость, но институт на выходных почти пуст, а Дима дежурит и обещал звонить, если гравиметр чихнёт. Марк стоит у окна с белой чашкой — той самой, со сколом, — и смотрит на двор.

Мир за неделю обвык. Люди ходят осторожнее, шаги короче, собаки не натягивают поводки — привыкли. Но голуби всё ещё садятся не сразу, и качели во дворе качаются с амплитудой, от которой раньше бы забили тревогу, а теперь — норма. Новая норма. Марк допивает кофе — горький, из турки, без сахара, — и в этот момент слышит звонок в дверь.

Не телефонный — дверной. Короткий, решительный, один раз. Марк смотрит на часы: девять тридцать семь. Воскресенье. Кто может прийти в воскресенье в половину десятого? Дима предупреждал, что позвонит, не придёт. Вершинин не приходит без вызова. Сосед сверху — тот, который

курит на лестнице, — не звонит, а стучит кулаком, когда застревает лифт.

Марк идёт к двери. Открывает.

Лена.

Она стоит на пороге — куртка расстёгнута, волосы собраны в хвост ту же обычного, лицо — то лицо, которое бывает у людей, которые не спали, или спали мало, или не спали и не собирались. За её спиной — Соня. Рюкзак на обоих плечах, тяжёлый, с энциклопедией — Марк знает, потому что знает этот рюкзак, видел его в видеочатах, когда Соня поворачивалась, и рюкзак перекашивал её вбок. В правой руке — пакет, белый, полиэтиленовый, плотный, с углами, которые говорят: еда, посуда, может быть, одежда. На ногах — резиновые сапоги. Октябрь, грязь, Лена всегда одевала Соню практично. Всегда — даже когда Соня хотела платье с оборками и балетки, как Дашкины, как у всех. Лена не покупала балетки. Лена покупала резиновые сапоги и говорила: «Потерпишь». Соня терпела. Она умела терпеть — от матери.

Лена говорит коротко, без предисловия, как умеет только она:

— Бабушка в больнице. Упала ночью, бедро. Операция

завтра. Мне нужно быть там, потом — на объект, башни не ждут. Сидеть с Соней некому. Соседка, которая помогала первые дни, уехала к родственникам в Воронеж. Ты — последний адрес.

Марк молчит. Не потому что не хочет — он хочет, он всегда хотел, он думал об этом каждый день с весны, с того дня, когда Лена забрала Соню и кота и ушла, и квартира опустела, и буква «С» в дальней комнате осталась подмигивать из-за обоев. Он молчит, потому что квартира, в которой он живёт год один, не готова к ребёнку. Дальняя комната — Сонина, с буквой «С» и коробкой детских вещей, — не открыта с весны. Кухня — две чашки, одна со сколом. Холодильник — творог с истёкшим сроком и три яйца, которые он купил на прошлой неделе и забыл сварить. Пол в коридоре — пыльный, потому что Марк ходит только в кабинет и на кухню, а в остальные комнаты не заходит, и пыль знает: туда не ходят, туда можно.

Лена читает всё это по его лицу. Она умела читать его лицо — раньше читала, когда были вместе, когда лицо было одним из способов разговора, когда Марк молчал, а Лена видела: вот здесь — страх, вот здесь — усталость, вот здесь — то, что он не скажет. Она умеет до сих пор. Развод не отнял этого умения. Он отнял другое — право пользоваться.

— Еда в пакете, — говорит Лена. — Горячее — разогреешь. Она ест макароны с сыром, больше ничего не заставляй. Зубы чистит сама, но проверь — забывает передние, нижние. Ложится в десять, не позже. Телефон — до девяти вечера, потом забираешь. Номер больницы — у неё в рюкзаке, в записной книжке. Не в телефоне — в записной книжке, бумажной. На случай, если связь упадёт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.